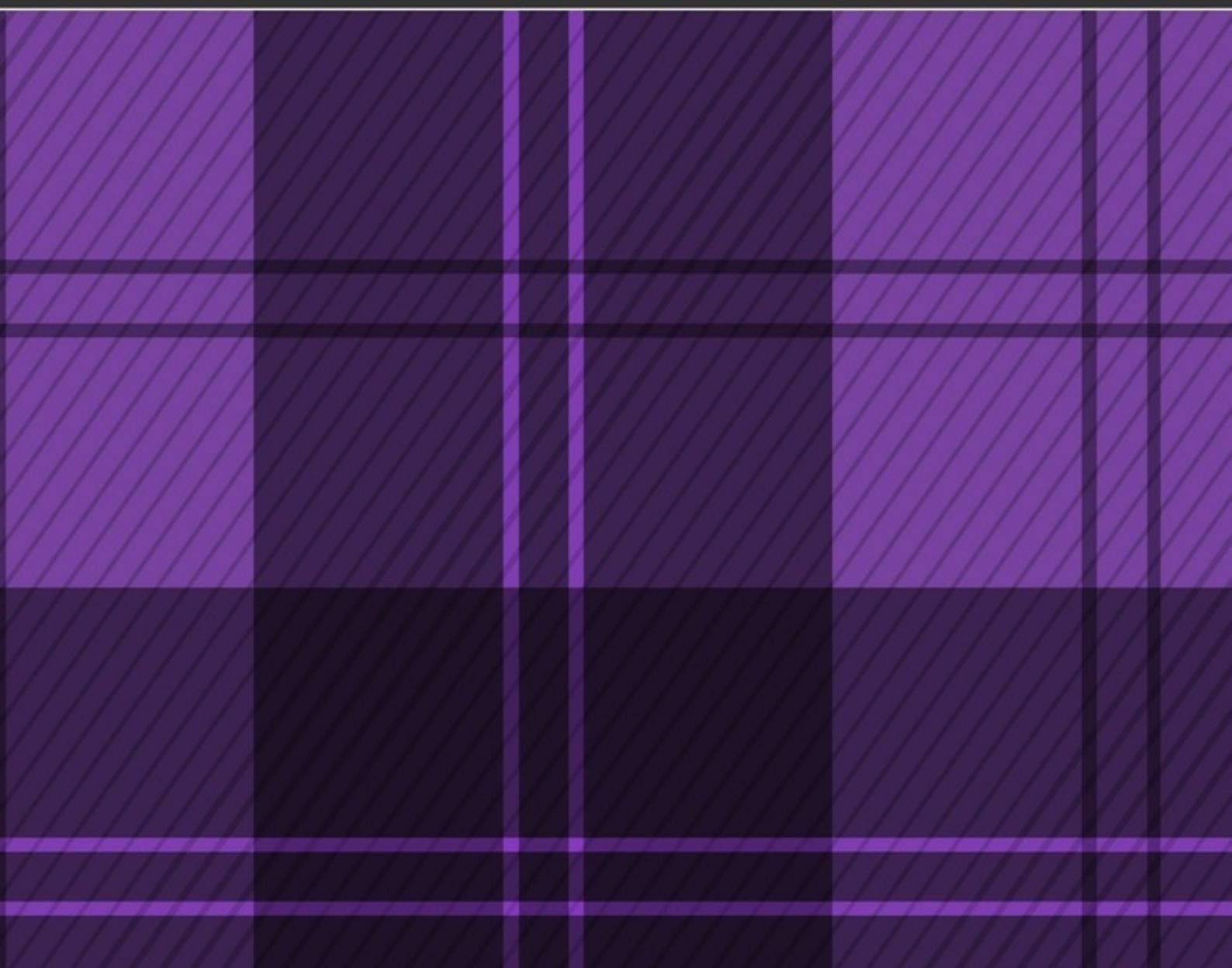


Артур Олейников

ЛИЗАВЕТА СИНИЧКИНА



Артур Олейников
Лизавета Синичкина

«Издательские решения»

Олейников А.

Лизавета Синичкина / А. Олейников — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900464-2

Книга несет собой забытый классический русский роман. Открывает непростые судьбы героев, которые из бытовых сцен с головой окунаются в ад войн Афганистана и Чечни. Рассказывает о Донской земле. Главная героиня романа — светлая, душевная молодая девушка, казачка, которая противостоит всем несчастьям и горестям жизни своей любовью к людям и чистым сердцем...

ISBN 978-5-44-900464-2

© Олейников А.
© Издательские решения

Содержание

Часть первая. Галя	6
I	6
II	11
III	15
IV	18
V	21
VI	25
VII	31
VIII	33
IX	41
X	45
XI	46
XII	51
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Лизавета Синичкина

Артур Олейников

© Артур Олейников, 2017

ISBN 978-5-4490-0464-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Галя

I

Как то летом под вечер в крутом переулке у Дона одна баба будила крепко выпившего старика. Старик разлегся прямо посреди улицы. Друг за другом до самой железной дороги тянулись дворы со старыми кирпичными домами. Деревянные крашеные заборы разноцветными лентами спускались по переулку и обрывались всего лишь в нескольких метрах от насыпи с блестящими рельсами. Она уже ни один час потратила впустую на поиски какого-то дома. Детвора, к которой она прежде пристраивалась с расспросами, знать ничего не хотела ни про какой такой дом и ее хозяйку и бежала от нее купаться на Дон. Люди постарше только пожимали плечами и тоже ни чем не помогли. Приближалась ночь и у приезжей оставалась одна надежда на пьяного старика.

И не пройти, не проехать было через того старика, потому что Коля Понамарев был не просто там какой старичок, на которого и дунуть страшно, а прямо какой-то леший или целый медведь. Понамарева было видно что женщина испугалась и долго гадала, будить или дальше пытаться удачу у редких прохожих. Но все же решилась, больно при всем своем диком лесном виде лохматый старик казался нестрашным, если к нему присмотреться. Ни клыков, ни острых загнутых ногтей и сопел по-доброму, по-стариковски. А известно же, что на добро и самый лютый зверь добром отвлекается, а тут не зверь, а пьяный старик.

– Старик проснись, проснись миленький, – пыталась она добудиться старика, а сама горько думала, что видно ей придется ночевать на улице. Последний раз в Аксае Галя была двадцать лет назад, и теперь все ровно как, заблудившись в лесу, наугад брела в переулках, читая названья незнакомых улиц.

Это была деревенская полнотелая рябая некрасивая женщина сорока лет с крепкой выпирающей грудью. По-деревенски с узлом в руках и одета уже в давно вышедший из моды атласный сарафан. Бедная и может кому-то покажется, что глупая темная, но знайте что непременно добрая по тому, как она будила старика.

– Проснись, проснись родимый. Ну что же ты, – сокрушалась женщина и, глядя на закатывающееся червонное солнце, расплакалась.

Понамарев закричал и попытался встать, но застыл на полпути, тяжело дышал и дико озирался по сторонам стоя на четвереньках.

– Спаситель! – обрадовалась женщина и стала помогать подняться Коли и еле справилась с дебелим стариком, крепким не по годам.

И так Коля схватил свою помощницу за руку, что та вскрикнула от боли.

– Ты чего?! – спросил Коля.

– А ты чего! – сказала женщина, обидевшись. Вон ручища какие. Леший!

Она свободной рукой подхватила старика под руку, и он снова, словно в стальные тески, мертвой хваткой сдвинул ей руку.

Женщина болезненно застонала:

– Что же ты ногами не ходишь, а руку мне разломать так и норовишь?!

Коля ничего не ответил и тяжелым неловким шагом, словно на костылях, поддерживаемый помощницей, повел Галю вниз по переулку в сторону Дона.

– Ты что же, до дому меня вести собрался? – тяжело спросила женщина. – Где же я буду ночевать?

И тут она вспомнила, зачем она разбудила старика.

– Где мне Савельевых искать? – спросила она. – Веру Савельеву мне надо. Она здесь давно живет. Должны знать.

– Верка! – воскликнул Пономарев, как будто что-то припоминая. – Хорошая баба!

У женщины после таких слов, словно камень с сердца упал.

– Сестра? А? Похожа, похожа, – продолжал вселять надежду старик.

– Нет, где уж сестра. Крестница она отца моего и подругами мы с Верой ходили.

– Приехала?

– Приехала! Двадцать с лишним лет не виделись. Признает ли, даже теперь и не знаю. Боюсь. Ночевать негде, – горько вдохнула новая Колена знакомая. – А меня Галя зовут. Боева по мужу. А у Веры муж какой? Русский? Мать нам ее говорила, что Вера с мужем живет. Что молчишь?

Старик перестал плести за собой тяжеленные ноги, остановился и стал держаться за забор. Галя не торопила и освободила из своих объятий старика.

«Устал. Путь отдохнет», – думала добрая сердечная Галя.

Но тут старик как-то вскинул голову, признав, что ли знакомый двор и сделал движение повернуть назад. Но не справился. Ноги у него подкосились, и старик встал на четвереньки и как бычок встречает преграду на пути, уперся головой в деревянные дощечки забора, словно собираясь с деревяшкой мериться силами. И в ту же минуту за забором как из-под земли явилась бойкая бабка в халате с таким победоносным и довольным видом на лице что, словно весь день только и делала, что поджидала застать в неприглядном виде соседа. И вот свершилось, небо вознаградило бабку за труд.

– Что старый хрыч, – язвительно ликовала бабка, упирая руки в бока, – опять глаза залил! Вот устроит тебе дочка. Устроит!

И она весело смеялась, представляя, как дочь задаст старику и преставала к Коле с любимым вопросом.

– Коля, а Коль, а ты на войне был? – спросила бабка подмигивая незнакомой бабе.

Коля кивнул и стукнулся лбом о забор

Соседка «ветерана» весело расхохоталась.

– Коль, а Коль? – продолжала пытаться бабка сквозь слезы, проступившие от смеха и веселья на глазах. – А сколько тебе тогда лет?

Коля тяжело, словно в забытьи поднял голову, посмотрел на свою мучительницу.

– Восемьдесят семь! – ответил Коля и снова стукнулся лбом о забор.

Бабка снова рассмеялась. Разговор доставлял ей удовольствие тем более при посторонней незнакомой бабе.

– А сколько же тогда мне? – спрашивала чернявая румяная бабка, на вид не страши шестидесяти. – Если я тебя на год младше.

Коля набрал в легкие побольше воздуха и выдохнул вместе с перегаром:

– Сто! Общими ногами Любка в могиле стоишь.

Любка проглотила смех.

– Я тебя дам! Вот сейчас к дочке пойду, – обиделась Любка. Она тебе устроит в могиле!

И Любка, как и обещала, побежала звать дочь Кольки. Выбежала со двора, резво пронеслась с десятков метров вниз по переулку и заколотила в обитую жестью калитку.

– Давай скорей, – протрезвел Коля. Шатаясь, встал на ноги и довольно лихо заковылял в противоположную сторону верх по переулку подальше от дочери, соседки, расправы и неприятностей.

– Если дочь захватит, – жаловался на ходу Коля, – жизни не станет. В кухни закроет. У нее дело не станнит. Вся в мать! А Верка там живет, – на ходу сообщил Коля и показал в сторону, в которой спал и откуда сейчас пришел, словно он затем сюда только плелся чтобы встретиться с язвой соседкой, чтобы проветриться от ее нападков и трескотни. Но уже

скоро Пономарев выдохся, остановился и снова стоял на четвереньках. Если мысли старика от прогулок вверх и вниз по переулку собирались во что-то единое целое, и он мог более или менее ясно начинать соображать, то во всем же остальном был противоположный печальный эффект. Старик быстро устал. Он тяжело дышал и обливался потом. Состарившиеся больные ноги не выдерживали крепкого крупного старика. И Галя поняла, что если она сейчас хоть на себе не дотащит старика до дома подруги, ночевать ей на улице, потому что, где искать дом матери Веры, она и вовсе не знала. И стала в очередной раз помогать подняться старику и тащиться вверх по переулку туда, где, по словам старика, жила Савельева.

– Пришли, – сказал Коля, подведя Галю к окнам старинного двухэтажного дома. Вся улица Гулаева была в старинных особняках и в прошлом богатых казачьих и купеческих домах девятнадцатого века. Это была одна из самых старых и красивых улиц в прошлом станицы Аксайская, а ныне ни богатая отрезанная от центральных нарядных улиц современного города.

Старая каменная церковь, почтовая станция девятнадцатого века, мемориальный комплекс площадь героев и когда-то знаменитый, а нынче заброшенный кинотеатр с таким важным для каждого сердца названием «Родина» (а сейчас и вовсе снесенный с земли) и люди, доживающие свои непростые жизни на старинных улицах. Островок для многих так и оставшийся станицей, район прозванный «Низом» из-за того что сам город с его высотными зданиями и проспектам устроился на горе, а в прошлом казачья станица как водилось у казаков тянулась над берегом реки. И здесь люди все также как сто лет назад заранее не договаривались, что придут в гости. Могли прийти и запросто остаться пожить, не имея за душой ни гроша. И Коля бесцеремонно заколотил в окно так словно в свое собственное.

– Верка! Верка, выходи, – кричал Пономарев и стучал по стеклу, так что еще немного, и оно разлетелось бы вдребезги.

– Кто?! – раздался мужской голос в форточку в ответ на грохочущий зов старика.

– Верка, выходи.

– Савельева, выйди, – сказали громко в доме и спустя лишь секунду тихо:

– Карлыч с бабой какой-то.

– Почему сам не заходит? – спросил женский голос.

– Почему не заходишь? – спросил мужской голос в форточку. Заходи!

– Верка! Верка, выходи, – не унимался Карлыч, так многие местные обзывали Пономарева и как будто не слышал приглашения зайти в дом или хотел, чтобы его встретили лично, продолжал колотить в окно.

– Да заходи уже! – не выдерживал мужской голос и отвечал на шум раздражительно.

– Верка, выходи.

– Савельева, выйди! Иди, а то я за себя не вручаюсь!

– Иду, иду!

– Верка!

– Да иду.

И Коля кричал, пока Вера не вышла из калитки.

Савельева была ровесница Гали, но выглядела моложе и ухоженней с химией на голове. Налитая здоровьем и силами, красивая крепкая казачка в бархатном голубом халате.

Подруги не узнали друг друга. Если бы встретились на улице, прошли бы, наверное, мимо.

Но теперь благодаря Карлычу, Галя знала, как изменилась ее подруга за двадцать с лишним лет, и как-то само собой получилось, все припомнилось. Как бегали босиком по Мечетке, как бойкая Вера никогда не давала ее в обиду и могла самому разбитному мальчишке за Галю огреть подвернувшейся под руку палкой.

– Верка! – с укором встретил Карлыч соседку. – К тебе подруга приехала, а ты глухая тетеря.

Вера недоверчиво смотрела на некрасивую, но отдаленно чем-то знакомую женщину.

– Подруга, говорю.

– Здравствуй, Вера. Не признала? Я Галя, дочь Гаврила Прокопьевича.

Вера удивилась:

«И в самом деле, прошептало же о чем-то сердце. И как сразу не узнала. Вот и мать говорила, что крестный умер».

Женщины, расплакавшись, обнялись.

– Что же я тебя на улице держу, – спохватилась Вера. – Ты, наверное, устала.

– Ночевать мне негде.

– Как негде? – удивилась Вера. Ты же ко мне приехала!

Галя замялась и долго собиралась с силами.

– Говори, что случилось. Ты прости, что вот крестному не смогла.

– От мужа я ушла, Вера, – сказала Галя тяжело, словно смертельно раненая, на последнем издыхании.

– Тоже мне, горе! – весело восклицала Савельева. Мы тебе нового мужа найдем. Есть один, правда, не клад какой. Попросился жить, а толку как от козла молока. Пойдем, познакомлю, хоть какая польза будет.

Галя в страхе попятилась за калитку.

Савельева рассмеялась.

– Да не бойся, не понравится тебя насильно никто не заставит. Да пошли, сдурела. Сорок лет скоро, а как девчонка.

Вера взяла Галю за руку.

– Пошли, все равно идти, не на улице ночевать же. И что я потом матери скажу. Встретила, называется.

– А мне куда же? – спохватился Коля, когда подруги стали уходить. Мне домой нельзя. Дочь закроет. Она у меня, когда выпью...

Савельева махнула рукой.

– Знаю я Тоню твою, не придумывай, и правильно делает, что пить не дает. Но все равно не пушу и не проси, сказала Вера. Ты мне, как в прошлый раз, белье попортишь. Мочится под себя, – стала объяснять Вера подруге. – Я и ведро ставила и будила. Бесполезно.

– Я не буду. Я перестал.

Вера рассмеялась.

– Что перестал?

– Все перестал. Не помню, когда уже и ходил в последний раз.

– Ну, фантазер! Врать начнет, вся улица за животы хватается.

– Я в кухне лягу.

– Нет, я тебя знаю. Иди к Лизавете. У нее дом большой, и скучно ей одной. Вчера приходила.

– Пойду, а что делать, пойду, – и Коля соорудил страдальческую физиономию, словно собираясь заплакать. И делая вид, что изо всех сил крепится не показывать бабам своего горького положения, стал подзывать Веру рукой.

– Да ну тебя! Сейчас вынесу.

– Вынесешь!

– Сказала, принесу.

– Так я жду. Веерка, я буду ждать. Верка, я не уйду, – ободрившись, принимая боевой вид, кричал Коля вслед встретившимся подругам.

Вера быстро вернулась с начатой бутылкой и граненым стаканом в руках.

Коля залпом выпил обещанный ему стакан самогона.

– Зараза, Нинка, совсем скурвилась, – остался недовольный Коля самогоном.

– Все, все Карлыч, – отрезала Вера, и забрала из цепких рук Коли посуду.

Коля в несчастье скривился, не спуская глаз с бутылки.

– Ты же не дойдешь!

– Дойду. Что тут идти!

– Вот и иди.

– Не могу. Не могу без заправки. Пожалей старика. Я же тебя на коленях...

– Какие колени, ты что плетешь?! Я здесь только двадцать лет живу.

– Тогда налей ради Христа. Христом богом прошу, налей.

Вера налила.

Коля выпил.

– Ну, разве не дрянь!

– Все, Карлыч надоел. Иди уже.

– Налей еще, что там того осталось! На доньшке ведь. Здоровым мужикам только губы смочить, а старику сила, помощь. Налей. Я же душой изведусь, что она, зараза, плескаться осталась.

Вера тяжело вздохнула и вылила Коле в стакан оставшийся самогон, сцедив, таким образом, старику с полбутылки.

Коля проглотил и снова хотел ругать Нинку самогонщицу, но Савельева выхватила у него из рук стакан и побежала к подруге, зная наперед жалобы Карлыча на невысокий градус.

II

Все казалось Гале в доме Веры Савельевой чудным и в новинку. Даже такая мелочь, что муж и жена сидят за одним столом. За двадцать с лишним лет замужества за мусульманином Галя отвыкла от русских обычаев и с какой-то ревностью смотрела на Савельеву и на ее гражданского мужа Сергея, как старик смотрит на резвую счастливую детвору и готов все отдать, чтобы хоть на миг вспомнить беззаботный вкус молодости.

Ткаченко, снимавшему комнатку у Савельевой, Галя не понравилась. Толстозадая, рябая. Но взволновала крепкая грудь, широкие бабские бедра, обтянутые красной гладкой тканью.

Он пришел к Гале, дождавшись, пока уснет хозяйка и захрапит пьяный товарищ. Как он и думал, Галя не спала.

Ткаченко грубо теребил крепкую бабскую грудь и закрывал вспотевшей ладонью Гале рот, когда она стонала, и когда начинала извиваться, крепче держал и прижимал мощные раздавшиеся от времени и родов широкие бедра, чтобы не скрипел старый диван.

Когда все закончилось, Ткаченко ушел курить. Галя на цыпочках шла, чтобы хоть одним глазком посмотреть, где он, что делает, и спала одна.

Ткаченко она больше не интересовала и теперь просто казалась рябой и толстозадой, с уродливыми бедрами и некрасивой, большой, выпирающей грудью. В то время, как Гале Ткаченко с каждой минутой нравился все больше и больше. И она еще долго не могла уснуть и прислушивалась к его сопению, раздававшемуся из соседней комнаты, словно к песне, заворожившей, разволновавшей доверчивое бабское сердце, которое не знало ласки не настоящей любви.

Сколько не пробовала Прасковья Игнатьевна заплетать в косу жидкие волосы дочери, получалось из слабых волос одно посмешище. Сопля, выпущенная из носа, смотрелась выгодней, чем Галина коса. И платье, какой бы не было цены, смотрелось на Гале, как на жабе фата, так и просилось, чтобы его сняли и спрятали подальше, чтобы не позорить отца с матерью. Так Галя все время и ходила в каких-то рубищах вровень своей крепкой фигуре.

Не по возрасту, большая бабская грудь была для семнадцатилетней Гали все одно, что проклятье, и служила предметом вечных насмешек.

Пристанут на улице к Гале местные озорники, и давай хватать за большую некрасивую грудь, словно за вымя. Галя побежит от них, а ей вслед, словно камень летит: «Корова, Корова». Галя споткнется, упадет и приходит домой заплаканной, с разбитыми коленями.

Один раз отец Гали Столов Гаврила Прокопьевич поймал такого Галиного обидчика и, не церемонясь, в зубы. А мужики вокруг давай смеяться.

– Ты, Гаврила, так все кулаки в кровь побьешь.

– И побью! – отвечает Столов.

– Ну-ну. Гляди и Галка твоя краше станет! – смеялись мужики. – Да ты не дуйся, что же поделаешь, если и вправду корова. Держи тогда дома, чтобы не дразнили.

Отец перетерпит, обиду не покажет, придет домой и на дочку.

– Не реви, что поделать, если некрасивой народилась.

– Да в чем она виновата?! – заплачет Прасковья Игнатьевна.

– Да не виню я! Ну, пусть не жалуется, или вон дома сидит. Мужики смеются.

Поплачет Прасковья на пару с Галей и к соседке. Все легче, когда поговоришь.

– Ну что делать, кто ее замуж возьмет?! – сокрушается мать. Может, какой больной, ухаживать станет, все лучше, чем одна, мы же не вечные!

– Буду иметь ввиду, не пропадет девка, не пропадет, – обещала станичная сводница, и вроде как не обманула.

Однажды ночью в станице Мичетинская на порог сводницы явились двое таджиков. Один был молодой, стройный, в костюме, другой, полная противоположность, совсем старик, с седой острой бородкой, в желтом халате и в бархатной вишневой тюбетейке с золотой вышивкой.

Хозяин дома лениво проводил таджиков в летнюю кухню из белого кирпича и ушел, не скрывая равнодушия до дел своей жены.

В чистой побеленной комнате таджики не садились и ждали хозяйку.

Со всей округи шли в дом Проскуриной, если надо было посватать или кого свести. Как почтальон, Проскурина была вхожа в любой дом в деревне, но только если почтальон приносит новости, эта своенравная женщина собирала новости и потом выгодно их продавала. И подноготную чуть ли не каждой станичной семьи Проскурина знала назубок, лучше, чем свою родословную.

Валентине Проскуриной нравилось казаться барыней, свысока смотреть, решать, когда прогнать со двора, когда миловать. Чернобровая, статная, наделенная физической силой. Зимой и летом она носила на плечах дорогие белые мохеровые платки, старалась держать тон, пока не разозлится, и из столбовой дворянки не превращалась в торговку. Начинала кричать, могла и поколотить, но до рукоприкладства, как правило, дело не доходило, потому что трудно припомнить, чтобы кто-нибудь с Проскуриной в конечном итоге не согласился. Потому что при всем искусственном возвеличивании она была справедлива; и пусть кричала и колотила кулаком по столу, делала она это всегда по делу. Умный человек понимал, а с дураками Валентина Григорьевна старалась не связываться. Доводы за плечами всегда имела железные. Зла не помнила и как разгоралась, так и остывала.

Она важно вошла в кухню и села за стол. В каждом своем движении Проскурина давала понять, что сегодня и сейчас она царица положения, когда поправляла платок на плечах, когда говорила и смотрела как бы в сторону, как какая королевская особа. Не на секунду Проскурина не давала забыть таджикам, что они в гостях и зависят от ее расположения.

– Присаживайтесь, – попросила Проскурина.

Таджики сели.

Молодой таджик смущался и говорил, сбиваясь, было видно, что ему неловко.

– Нам сказали, что вы можете помочь. С невестой, – выдавил гость.

– Правильно сказали. Вам какую надо?

Сводница хитрила. Лишь только одним глазком смерив смуглых таджиков, она уже знала, какую девушку можно без особых хлопот засватать за таких. Одного сводница не знала, сколько спросить с таджиков за помощь, чтобы не продешевить.

Не придумав ничего дельного, молодой человек ответил первое, что только пришло на ум.

– Хорошую.

Проскурина, полная важности, поправила на плечах платок:

– Это можно, если средства позволяют.

Старик смотрел недоверчиво, говорить не говорил, но слушал внимательно, и по тому, что реагировал на любые повороты в разговоре, можно заключить, что все понимал. Когда речь зашла о деньгах, старик напряг слух, и его старое с желтым отливом лицо вытянулось, и стало казаться, что как будто морщин на нем стало меньше.

Проскурина даже поморщилась, увидев в преображении старика нехороший знак.

Сын тоже заметил перемену в отце, когда коснулись материальной стороны, и ему сделалось стыдно.

– Сами посудите, – стала говорить Проскурина. Не могу же я за красивую посватать такого, кто как говорится последний кусок доедает. Что обо мне потом люди подумают?!

Но для вас что главное? Как я понимаю, для вас главное не столько, чтобы красивая, а чтобы отдали. Правильно я вас понимаю?

Молодому человеку сделалось неприятно. Слишком уж открыто Проскурина намекала, что они не у себя дома и должны радоваться тому, что им предлагают.

Старик тоже прекрасно понял, о чем говорит Проскурина и молча, как бы говоря сыну, что все в порядке, опустил руку Мусте на колено.

Уравновешенному, образованному Мусте никогда не пришло бы в голову вступить в перебранку с женщиной, да и с любым другим, но его всегда поражала это врожденная восточная почтенность по отношению к хозяину дома, в который ты пришел.

Муста улыбнулся отцу, и старик все также молча убрал руку с колена сына.

Проскурина нахмурилась – ух уж эти знаки, сигналы, целомудренность одного и недоверчивость другого, не по-русски, одним словом.

– Вы, я вижу, человек образованный, – обратилась Проскурина к Мусте и изучала костюм молодого таджика: классический черный пиджак, белую рубашку, строгий галстук, выдержанный в темно синих тонах, и сверкающую английскую булавку, как будто из золота. Мысли о том, что булавка золотая, как-то сразу расположили Проскуру к владельцу дорогой золотой вещи. С владельцем такой булавки можно было договориться. Ах, если б только не проклятый старик!

Владелец булавки промолчал.

– И, как человек образованный, должны понимать, что ваш случай все одно, что с красивой. Стоит денег – сто рублей, – так сказала Проскурина, словно спросила пять копеек, словно давая понять, что если не нравится, не беда, проходи, купит другой. По такой-то цене! Но кто его знает, может и в самом деле копейки по сравнению с вопросом, ведь что не говори, а «товар» у сводницы был непростой.

На озвученную цену старик нахмурил брови и зашептал на ухо сыну по-таджикски.

Проскурина разозлилась, что при ней заговорили не по-русски, чтобы она не поняла. Хотя и без русской речи Проскуриной стало ясно, как божий день, что «проклятый старик оказался никаким не таджиком, а самым настоящим жидом».

Мусте сделалось стыдно за отца, за то, что тот решил еще и поторговаться.

– Невесту и задарма хотите?! – разошлась Проскурина. Невеста вам не корова, чтобы за нее торговаться! Не на базаре. Сто рублей или ищите сами. Небось, у вас там тысячу вывалили бы. За сто рублей и разговаривать никто не стал бы. Да еще и на смех подняли бы. Считайте что это калым только по-нашему. Стоящая девка, работающая, крепкая. Красота, ни мне вам говорить, так, для забавы, она здоровых детей рожать будет. Вам, что с ней, под ручку ходить. Вам чтобы руки в доме были, чтобы детей рожала. Или вон могу Диктеревых – Светлану и красивая и из богатеньких, так она гулять будет. Ты что, старик, с ума сошел?! Ты хочешь, чтобы вам потом в каждом доме косточки перемывали?! А?

Старик испугался и замахал на Проскуру руками. Муста готов был отдать хоть тысячу, хоть две, и просил отца забыть.

– Во-во. Так что не выкобенивайся. Свадьбу у них сыграете. Потерпите, не облезете. Соберутся все только свои. Посидим, выпьем по-нашему. А как же! Ты мне здесь бородой не тряс. Говорю, потерпите, значит потерпите. Да час другой, всего лишь для виду, и забирайте и делайте с невестой все, что хотите. Ну что, согласны?

– Согласны, – отвечал Муста, и, как прежде, отец клал руку ему, опускал руку старику на колено, прося не волноваться из-за денег.

Проскурина весело улыбнулась. Как говорится, дело было в шляпе. Что уж теперь. Кто прошлое помянет – тому глаз вон.

– И правильно, а то смотри, так и без жены останешься, – рассмеялась Проскурина в адрес молодого таджика.

Муста смутился.

– Это не для меня!

– Да неужто... – Проскурина проглотила слова, впившись глазами в старика, у которого даже богатая бархатная тюбетейка не могла вас отвлечь от того, что ее хозяин был старый и лысый.

– Нет, невеста для младшего брата.

Проскурина рассмеялась.

– А я подумала, как вас, извините, вы не представлялись.

– Муста! – представился целомудренный таджик.

– Очень приятно, – улыбалась Проскурина. А меня – Валентина Григорьевна. А батюшку, еще раз, ради бога, прошу извинить.

– Ничего страшного, отца зовут Фирдавси.

– Федор что ли по-нашему?

Муста промолчал.

– А как же мне его звать? Небось, уж сто лет как в обед. Вон лысый уж совсем.

– Фирдавси Абуабдулло Боев, – ответил Муста.

Проскурина стала креститься.

– Господи, чего только на свете не бывает!

Муста смутился.

– Ну что теперь уже поделаешь! Абдула так Абдула, нам какое дело.

– Абуабдулло, – поправил Муста.

– Как вам нравится, а деньги попрошу вперед. Вы меня извините, ну так уж у меня заведено. Всякое в жизни бывает. Вам не понравится, а я буду хлопотать.

Муста достал дорогое портмоне из кожи, открыл и стал отсчитывать деньги.

Проскурина скривилась и мысленно ругала себя. Портмоне было битком набито деньгами. С такого можно было и больше спросить, не почувствовал бы.

Проницательный Муста, не говоря ни слова, вместо положенных ста рублей подал своднице двести.

Проскурина разомлела. Лицо хозяйки, как все равно после бани, сделалось мягким. Еще сто рублей сверху, и Проскурина, наверное, умерла бы от удовольствия.

Фирдавси нахмурил брови.

– Благодарю. Дело делаете, – брала Проскурина деньги, и словно отчитываясь перед стариком, зачем столько переплатили, подставляла ему под нос синенькие купюры по двадцать пять рублей и говорила:

– На счастье!

Идти смотреть невесту решили на следующий день. И в воскресенье – всех, кого нужно, больше шансов застать и что, как говорится, откладывать в долгий ящик.

Заранее договариваться с родителями девушки Проскурина не пошла. Во-первых, не принято, а главное, боялась раньше времени проговориться, что жених нерусский. Опасалась хитрая сводница спугнуть родителей невесты. Мало ли что можно за ночь – другую передумать. И неважно, красивая девка или такая, что только дома под одеялом держать.

III

– Колбасу порежь, – кричал Столов и просил переодеться в свежее белье. – Рубашку чистую дай.

И бедная Прасковья не знала, за что хвататься.

– Галку поднимай, – кричал Столов. И пусть схоронится, и чтобы не слышно!

С рубашкой для мужа и колбасой Прасковья бежала в комнату дочки. Столов – за женой и рубашкой.

С божьей помощью вроде бы собрались и пошли встречать сватов.

В халатах и тюбетейках выходцы из Таджикистана стояли молча, словно воды в рот набрали. Старик отец и трое сыновей: высокий, стройный Муста, худой, с желтым больным лицом Шавкат и самый младший, семнадцати лет, Зариф. Муста в отличие от братьев и отца был, как и вчера, в галстук и костюме.

В качестве помощников с Таджикинами были русские женщины в нарядных ярких платках и в длинных юбках. Румяная дородная Проскурина, как командир, впереди всех кружилась и махала батистовым надушенным платочком, все равно как красна девица. Деревенские в отличие от таджиков весело переглядывались и по-доброму посмеивались и подшучивали над всем вокруг и друг над другом, как бывает в русских деревнях на сватовстве.

– Это который зять? – тихо спрашивал Гаврила Прокопьевич у жены.

– Наверное, тот, что молодой.

– Да вроде ничего!

– Да они же все на одно лицо. Слава богу, хоть додумались баб взять, а то и по-русски, наверное, не понимают, – вздыхала Прасковья.

– Цыц. Тоже мне наука жениться!

Прасковья Игнатьевна улыбалась, показывая ряды белоснежных зубов знакомым бабам.

Проходили минуты, а старик Фирдавси продолжал стоять, как вкопанный, хоть с пушки стреляй.

– Да что это они! – заволновалась Прасковья Игнатьевна. – Не нравится им что ли. Почему не заходят?

– Стесняются, – засмеялась хитрая Проскурина. Сейчас, сейчас я их приведу.

– Давай удружи, соседushка, научи, – просила Прасковья.

Проскурина подскочила к Фирдавси, самому старому и главному.

– Пошли, что встал, пошли, – и схватила старика Фирдавси за рукав.

А он взял и с силой одернул руку, и если бы Проскурина не отскочила, то, наверное, и огрел бы наглую непочтительную бабу, так он на нее «зыркнул». Все, теперь уж не у себя дома и честь знай.

Прасковья ахнула.

Валька, шельма, засмеялась.

– Это он шутит так. Шутит, – закричала находчивая сводница, а сама шептала:

– Что стали? О, дурни, пошли, пошли. И пошлет же бог! Да чтобы вы все издохли!

Деньги все равно не отдам, – и громко засмеялась. – Идут, идут сватья. Встречай, теща, Свекра!

Старик Фирдавси погладив бороду, пошел на двор.

– Ну, слава богу, – перекрестилась Прасковья Игнатьевна.

С улыбкой Проскурина подметала рыжей юбкой дорогу перед новоявленным свекром, а мысленно корила себя, что дура, взяла всего двести рублей.

«Хлопот будет с ними на тысячу», – думала Проскурина.

– А что же жених не идет? – шепотом спрашивала Прасковья у мужа.

– Да помолчи. Наверное, положено так. Отец смотреть невесту будет. Добро пожаловать, проходите, – взволнованно говорил Гаврила Прокопьевич.

Фирдавси зашел в небогатый дом колхозника Столова.

Дом был из трех комнат, одной большой, что была и за кухню и за зал, где принимали гостей, и двух совсем маленьких, какие были спальни Гаврилы с Прасковьей и Гали. Некрасивые, грубо выполненные проемы в стене, словно какие-то черные дыры открывали путь в комнаты, пугая духотой и полумраком. И что только радовало глаз, так это набеленная печь, украшавшая комнату, все одно, что начищенный сверкающий самовар украшает чаепитие.

Накрытый на скорую руку деревенский большой стол стоял у окна и бросался в глаза скорее не за кусками, а тем где на столе то или иное блюдо занимало место. Копченая колбаса, нарезанная по-деревенски, толстыми кружочками, покоилась на тарелке в самом центре стола как главное мясное блюдо. Отварная же красавица курица стояла скромно на уголке. Пахучая селедка в селедочнице – рядом с колбасой. Запечатанная бутылка водки все равно, что командующий в окружении подчиненных из десятка граненых стаканов, расставленных по всему столу, как в столовой, стояла с краю, как говорится, под рукой.

– Что же он и искать станет? – шепотом спрашивала Прасковья у мужа.

– Так позовем. Тоже придумала! Галя! Выйди, дочка, – позвал Гаврила Прокопьевич.

Галя робко, не поднимая глаз, вышла в лучшем, какое было у девушки платье, купленном в городе. Кримпленовое зеленое платье смотрелось на Гале, как старый пиджак на пугале в огороде. Оттопыривалось на бедрах, а большая грудь, казалось, вот-вот разорвет ткань и вырвется на свободу. Старик Фирдавси не смотрел на одежду; будь Галя в шелках, а внутри испорченной, старик ушел бы, посылая проклятья дому и, наоборот, в грязном мешке разглядел бы ценность, как бы ее не измазали сажей. Прямо какая-то детская неумелость себя держать, словно волна накрыла старика с головой, и он в каком-то восхищении смотрел на некрасивую, но чистую, нетронутую молоденькую девушку. Несмелую, мягкую, как глина, с которой можно было слепить все, что угодно: покорную жену, хорошего слугу, все, что только пожелает сердце. А эти плечи, руки.

Старый Фирдавси, имеющий свой взгляд на женскую красоту, одобрительно закивал головой.

– Харашийя, харашийя, – неправильно, с ошибками говорил Фирдавси, кивая головой. – Русский красовица, красовица!

Все обрадовались. Столов загордился.

– Вот тебе и корова, – шептал ошастливленный отец

Прасковья расплакалась.

– Иди, дочка, иди, – сказал Столов, и Галя обратно ушла в свою комнату.

Фирдавси одобрительно закивал головой

– О, черт лысый, – сквозь зубы цедила Проскурина.

И старик, проводив взглядом Галю, стал выходить.

– Да куда же он, куда?! – испугалась Прасковья.

– Не бойтесь. Понравилась, никуда теперь не денутся, – сказала Проскурина. Уже любят, любят – куда денутся.

– А как же договариваться?! – не успокаивалась мать.

– Договоримся, договоримся. О чем сними говорить. Они за все заплатят.

– Что значит, за все заплатят, – зажегся Столов. Мы хоть и не богатые, но и не нищие. Я ссуду возьму! Будет наша Галка не хуже других. Свиной зарежем.

– Гаврила, ты, что ли с дуба свалился, они свинину не едят, – рассмеялась Проскурина.

– Ну и черт с ними, я им барана куплю.

– Да господи, сиди ты, богач. Пусть платят, вон какую девку берут. Наливай лучше, думала уже слюной изойду, слава богу, ушел. Черт с бородой.

– Наливай, наливай, – захлопотала Прасковья. Бабы, подходите к столу, подходите.

Гаврила Прокопьевич стал разливать по стаканам водку.

Бабы с азартом, как дети, берут конфеты, взяли по кусочку копченой колбасы, а от остального вежливо отказывались.

– Ну что давайте, бабы, за счастье молодых, – сказала Проскурина высоко поднимая стакан.

– Слава богу, слава богу, пристроили, – крестилась Прасковья. А все же боюсь, бабы.

– Да нормальный мужик. Понравилась Галка.

– Правильно, Гаврила, дело говоришь. Дело, – сказала Проскурина. Если бы оно из-за страху бабы замуж не шли, и не было никого.

Все рассмеялись.

– Это верно, верно, – успокаивалась Прасковья. И ведь вроде бы близко они от нас. Я слышала про них.

– Да из Борисовки они.

– Ну, вот, мать, а ты все трясешься. Что от нашей Мечетки до их Борисовки. Один район. Пол часа на автобусе. Давайте, бабы, пейте, колбасу берите. Галя! Иди, дочка, покушай.

IV

До свадьбы Галя так и не увидела своего будущего мужа. Вся связь с новой родней осуществлялась через Проскурину.

Гаврила Прокопьевич ходил по Мечетки гоголем, гордо и высоко неся седую голову. Это был уже стареющий, болезненный мужчина, но, несмотря на свои болезни и беды, он еще проживет двадцать лет. Предстоящая свадьба разом преобразила Гаврилу. Как тот старый стол, обреченный пропасть в кладовой, может себя еще показать, накрой на него деликатесы, Гаврила ослеплял. Прежде не зная, куда девать себя от насмешек, он теперь ничего не боялся и ходил с ровной спиной, красиво расправив широкие плечи. Его Галя, как тот гадкий утенок, которого клевали все, кому не лень, вдруг в одночасье обрела ореол лебедя, и теперь только ленивые не говорили о предстоящей свадьбе. Гаврила Прокопьевич только что не летал.

– Гаврила! – останавливали Столова знакомые мужики. – Неужто не брешут?! Засватали Галку?

– Что она хуже ваших? Пришло время, и засватали, – отвечал Столов как само собой, как будто ничего особенного.

– И свадьба скоро?

– Скоро!

– Да брешь!

– Да что мне с этого!

– Так ты это, смотри, не посрамись перед татарами, – смеялись мужики. Сало им не давай!

– Да что, я не знаю?!

– Да не скажи! – улыбались мужики. Вон Валька трепалась, ты свиней резать собрался. Попридержал бы.

Столов ругался, мужики смеялись.

– Не татары они, – говорил Столов.

– А кто ж?

– Да то ли таджики, то ли...

– То ли узбеки, – смеялись мужики.

– Да ну вас! Вот посмотрим, когда вы выдавать станете, – и Гаврила расправлял «крылья» и бил козырем теперь уж мелкую карту язвивших прежде над ним мужиков. – И то еще неизвестно! Будет ли оно вообще на что смотреть!

Мужики прикусывали языки, а Столов гордый отправлялся домой, но когда приходил, не находил себе места. Волновался, переживал, чтобы все не хуже, чем у других свадьба была. Ссуду не стал брать, но снял все деньги, что были на сберегательной книжке. Все, что за долгие годы накопил рядовой колхозник, поместилось в кармане – сорок новеньких банкнот по двадцать пять рублей, ровно тысяча. На книжке осталось всего лишь несколько рублей, чтобы только не закрывать счет.

И в тот же день, как стоворившись, Проскурина принесла деньги от семьи жениха.

– Вот! – громко, торжественно сказала Проскурина и хлопнула пачкой красных десятков об стол, и следом еще высыпала кучку купюр по сто рублей.

– Сколько ж здесь?! – крестив руки на груди, спрашивала Прасковья, перепуганная большими деньгами.

– Две тысячи!

– Сколько?!

– Нечего, мало еще. Вон, какую девку берут!

Столов молча достал из кармана деньги, снятые с книжки и положил к остальным до кучи.

– О! Гаврила, ты, что же это, с книжки все деньги снял? – спросила Проскурина.

– Да, снял!

Прасковья Игнатьевна смотрела на мужа с гордостью и с тревогой одновременно.

– Прибереги! Не хватит, еще требую.

– Мы не нищие!

– Да, ну и не богатые!

– Мне дочь один раз выдавать!

– Ладно, сам смотри, – махнула рукой Проскурина. А если по совести, не облезли бы! Старший сын у них, оказывается, хирург в Зернограде. Он их и перевез сюда, шайку дармоедов. А хирург, говорят, неплохой, у нас в Ростове учился. Сам в Зернограде живет, а им, стало быть, дом в Гуляй Борисовке купил. Без хозяйства отец, старый черт, не может. Баранов ему подавай! Нигде, кроме старшего Ми... Как его там, а Муста! Так вот, кроме Мусты никто не работает. Тунеядцы! Куда власти смотрят?! Статью за тунеядство никто не отменял.

– Чья бы корова мычала, а твоя молчала, – загорелся Столов. Сама тоже вон в коровник носа не кажешь. Загордилась, а сама кто?! Доярка! Нашла сыну председателя ростовскую студентку и в дамки. Знаем, как твой Мишка на элеваторе вкалывает под крылом председателя.

Проскурина не понимаяще заулыбалась

– Что это он, Прасковья, как с цепи сорвался!

– Да остынь, Гаврила, – испугалась Прасковья.

– Да спокойный я! Пусть лучше скажет, сколько за нашу Галку получила?

– Да что ты, сосед, – засмеялась Проскурина, прикидываясь. Ерунду говоришь!

– И в самом деле, Гаврила! Она нам по-соседски. А если что кто и дал. Так это в благодарность. Дают же мужикам на водку, а она вон какое дело сделала. Грех не отблагодарить.

Столов махнул рукой и еще раз посмотрел на деньги, и какая-то обида и злость взяла отца, что только тысяча у него против их двух. И вроде бы всю жизнь работает, вкалывает с утра до ночи, а все только тысячу и собрал.

– Ну, вас, – сказал Столов и пошел к Гале в комнату, еле сдерживаясь оттого, что так больно кольнуло в самое сердце.

– Не обижайся, Валя, он теперь, словно на иголках, – извинялась Прасковья за мужа.

– Да что ты, господи. Дело ясное, ничего, ничего. Ты давай лучше ручку с бумагой, посчитаем, прикинем. Думаю, что можно будет всю родню позвать, даже тех, кто мало дарит. Денег хватит. Платье лучше на прокат у кого-нибудь взять. Да вот хоть у меня. От Людки осталось, вон, висит без дела. Она у меня, сама знаешь, та еще бочка – вся в отца. Да, господи, я его вам по-соседски за пол цены уступлю. Договоримся. Ты его подошьешь, и как новое будет. И туфли у меня есть недорого, за пол цены. Вот и договорились, – и Проскурина стала собирать деньги со стола. А где гулять-то собираетесь?!

Душевная Прасковья испугалась.

– Вот-вот, не поместитесь, если все придут.

– Не поместимся.

– Ничего, ничего, что мы, не соседи! У нас сядете, сама знаешь, все поместимся. Не переживай, денег я с тебя не возьму, что я, совсем уже. Пусть родня жениха платит. Братец хирург. На вот пока семьсот рублей на стол, а остальные пусть у меня побудут. За платье и туфли я возьму, не переживай. Все, что будет нужно, ты не стесняйся. Я у них еще спрошу.

Проскурина отсчитала семьсот рублей десятками и отдала Прасковье, а остальные деньги с концами спрятала в глубокий карман халата.

– Давай, пиши родню, все посчитать надо. Галка, ты подруг то хоть звать собираешься?

– Да позову кого-нибудь, – ответила Галя из комнаты.
– А дружкой кто будет?
– Иру сестру возьму!
– Правильно.
– Да отстаньте от девки, занимайтесь своим делом, – крикнул Столов.
– Да бог с вами! Секрет у вас какой, что ли? – засмеялась Проскурина, и легонько толкнула Прасковью в бок. Что это Гаврила?
– Да все надышаться на дочку не может.
– Понимаю, понимаю и мы не без сердца. Шутка ли, дочь замуж выдавать?!
– Да не говори, Валя, намучаемся еще, пока она свадьба то.
– Вот что, дочка, – разговаривал Гаврила Прокопьевич с Галей в комнате наедине. – Ты не думай, без подарка не останешься!
– Да что вы, папа! Все хорошо.
– Только вот, – и отец замялся.
– Я понимаю.
– Моя ты родная, – Столов тепло поцеловал дочь. Ну, ты не думай, не думай. Мы вам с матерью после, холодильник подарим. Как скажем на свадьбе, так и будет. А через два-три месяца справим вам холодильник. Ты не думай, – и Столов от стыда и обиды прятал глаза. И вот еще, – отец достал из кармана аванс – сорок рублей. На вот, спрячь.
– Да зачем, папа, вам нужнее, – испугалась Галя и не брала деньги.
– Возьми, говорю. На первое время. Неизвестно, что там да как! А у тебя какая-ни какая, а будет копейка. Купишь себе, чего-нибудь сладкого.
– Галка, иди сюда. Палец мерить будем, – позвала Проскурина.
– Зовут, – тихо сказала Галя и с тревогой смотрела на отца.
– Иди, иди. Я деньги тебе под подушку положу. Спрячешь.
– Хорошо. Спасибо папа, – Галя поцеловала отца и вышла из комнаты.
Белой ниточкой с катушки Гале мерили палец. Мать откусывала зубами нитку и не скрывала слез.
Проскурина весело смеялась, женив с добрую сотню молодых людей в округе. Браки, заключившиеся с ее легкой руки, надо признать, редко разбивались, все, за малым исключением, жили хорошо и дружно. Может поэтому многие родители, женившие и выдававшие замуж своих детей, закрывали глаза на Валькину нечестность. «Ну, скурвила сотню, другую, ну не доложила колбасы, припрятала конфет. Да лишь бы только жили, – говорили родители женихов и невест и сами порой как будто были и рады. Оно, смотри, все худое и украла с этой сотней и колбасой. Расплачиваются так с ней, значит молодые за счастье, – говорили старики. За все в жизни надо платить. Вон в церкви свечка тоже денег стоит. Так что?! Может та копейка поможет кому. Не вся, конечно, дойдет, но спаси она хоть кого-нибудь, тоже дело. Огромное дело!»
Проскурина забрала с собой ниточку. По уговору и обычаю обручальные кольца покупать родне жениха.

V

Кроме Мусты в семье Бабоевых по-русски разговаривать не умели, но все понимали.

«Хорошая, красавица, русская»: что раздалось в доме Столовых, пожалуй, было и все, что мог говорить по-русски семидесятипятилетний старик Фирдавси. Ну, еще слова три-четыре. Родился он в горном кишлаке, таком диком и отдаленном, что даже об великой отечественной войне знал как современные школьники, только из военной кинохроники и из художественных фильмов.

Женился Фирдавси только в сорок лет, никак не мог собрать деньги на свадьбу, чтобы по обычаю позвать всех до единого жителя кишлака, и поэтому дети пошли поздно. Наверное, так было угодно судьбе для спасенья Владимира Петровича Рощина, первого учителя в диких горах Таджикистана. К удивлению несчастного Владимира Петровича, русского учителя с Дона, заброшенного к черту на рога, маленький Муста все схватывал на лету и не дал сойти ему с ума какой-то неумной тягой к знаниям. Бедный учитель видел в черноглазом Мусте единственное спасение. Как только может какой-нибудь несчастный, чей корабль потерпел кораблекрушение, после мучительных страшных часов борьбы броситься к забелевшему на горизонте берегу, так и учитель со всем багажом своих знаний бросился навстречу одаренному мальчику, видя в нем спасительный кров и пищу для своего задыхающегося от тоски сердца.

«Учись, не ленись, не ленись. Господи, да ты даже еще не понимаешь своего счастья, – говорил Рощин. – Ты сможешь увидеть мир, сможешь все, что только пожелает твое сердце. Бог подарил тебе шанс и мне тоже. Да что бы я без тебя делал?! Я сошел бы с ума»

Муста был, пожалуй, единственным учеником во всей школе. В самом кишлаке детей было полно, но в школу они ходили неохотно, и чаще валялись кучей в пыли, или галдевшей шумной стаей носились по кишлаку. Только Муста был каждый день на уроках. Словно магнитом маленького Мусту тянуло к учебникам, к школьной доске, к картам и глобусу. И когда пятилетнее заключение Владимира Петровича подошло к концу, он в благодарность за свое спасение и во славу матери всех наук просвещения выхлопотал для Мусты место в интернате, чтобы тот смог продолжить учиться.

– Если бы не отпустили, я тебя выкрал бы. Ей богу, выкрал, – говорил счастливый учитель

Неграмотный, стареющий Фирдавси с благоговением слушал, как Муста читал ему Коран. Ничего не понимал, но, верующий в своего бога, до смерти испугался, когда Рощин сказал:

– Аллах все видит, и если научил маленького Мусту читать священную книгу, значит, уготовил ему особую судьбу, а вы, тем, что не отпускаете сына, не даете Мусте исполнить волю Аллаха.

Сработало, старик Фирдавси отпустил сына.

Оставляя Мусту в интернате, Владимир Петрович еле сдерживал слезы. Двенадцатилетний Муста смотрел на Рощина, как на второго отца.

– Ты только учись, не ленись, и тогда весь мир со всей своей красотой откроется твоим глазам и сердцу. Учись, Муста, заклиная, только учись. Вот здесь мой полный адрес, и Рощин дал мальчику аккуратно сложенный листок бумаги. – Пиши мне, мой друг. Приезжай, приезжай.

И спустя каких-то пять лет Муста с поношенным чемоданом в руках стоял на пороге Рощина в Ростове-на-Дону на «Красноармейской».

Рощин заплакал, когда Муста протянул своему учителю золотую медаль за школу, и сказал:

– Владимир Петрович, это вам!

– Весь мир у твоих ног! Кем же ты хочешь быть? – спросил Рошин у Мусты за накрытым столом.

– Я хочу быть врачом, – ответил Муста. – Я буду хирургом.

Сдавать экзамены в мединститут было и не обязательно. Мусту зачислили заранее, только увидев его на пороге ростовского мединститута, не зная ни про его знания, ни про золотую медаль.

Весь народ союзной республики, все до одного таджика словно стояли за плечами Мусты. Да не знай он ни одной русской буквы, всю приемную комиссию уволили бы на следующий день, не зачислили они его тогда в институт. Но Муста сам на «отлично» сдал все экзамены. И гордый и счастливый Рошин ходил с высоко поднятой головой со своим так и оставшимся по-настоящему единственным учеником, который своими стремлениями все к новым и новым знаниям отблагодарил учителя за его бесценный труд.

После института Муста, распределившись в молодой растущий город зерноград, быстро пошел в гору и, крепко встав на ноги, поехал в отпуск в родной кишлак. С подарками, с деньгами на свадьбу среднего брата, ставшего совсем другим, новым человеком. В костюме, спустя долгих двадцать лет, его не узнавали бывшие друзья и знакомые, когда-то игравшие с ним на узких кулачках кишлака, и думали, что приехал новый учитель. Чисто выбритый, говоривший больше и лучше на русском, чем на родном языке, Муста с тяжелыми ощущениями шел по родному кишлаку. Как будто ничего в его отсутствие и не изменилось, изменился только он. Весь мир вокруг бурлил прогрессом, и Муста был его частичкой. А этот забытый Богом кишлак, где он сейчас оказался, совсем другая планета необразованных несчастных людей, умирающих незаметно для всего остального мира. И Мусте так было обидно и больно, что хотелось кричать.

Кроме среднего брата и матери Муста застал всех здоровыми и такими же нищими и темными, как тогда, когда он их оставил. Познакомился с двумя девочками, своими сестрами, и младшим братом, родившимися уже после его отъезда в интернат, а потом и в Россию. Маленькие девочки – невинные создания должны были, как все вокруг, погрязнуть в невежестве. Был ли у них здесь шанс, как когда-то у него? Муста сомневался.

Специалист-практик Муста, только посмотрев на желтого худого брата, с болью для себя поймал себя на мысли, что у того, скорее всего, рак.

– Шавкат скоро умрет, сказал Муста отцу. И мама тоже умрет.

Болезненная, высохшая от постоянных беременностей женщина, родившая двенадцать детей, из которых выжили только пять, от тяжелой жизни все время болела и подолгу могла не выходить на улицу.

«А ведь ей только сорок семь лет», – думал Муста, и ему было больно и горько смотреть на мать, давшую ему жизнь пятнадцатилетней девочкой.

– Поедем, папа, посмотрите мир. Вы все здесь так умрете. Поедем, – просил Муста и читал старику отцу Коран про то, где было, что мир огромный, и Аллах сотворил его для всех.

Старик ничего не понимал, но согласился, больно хорошо, торжественно и любовно лились священные слова из уст сына. И теперь, когда Муста приезжал к семье в Гуляй Борисовку, он каждый раз читал отцу Коран. Но прежде чем навсегда покинуть родину, Муста должен был жениться. Он был старший сын и по законам, пока он не женится, не мог жениться никто из его братьев.

А Муста втайне от семьи уже женился на русской еще до того, как приехал в отпуск на родину. И тогда, когда переехал в кишлак, всеми силами, как только мог, отгораживался от брака. И соврал отцу, что он бесплодный и надо жениться больному Шавкату, пока тот не умер, чтобы брат успел продолжить род. Костюм, образованность и, главное, наличие

достаточного количества денег для празднования богатой свадьбы помогли, как можно скорей определиться с датой, благоприятной для бракосочетания.

Старик отец был доволен. Не только весь кишлак, но еще дальние родственники, о которых Муста никогда не слышал, приехали на свадьбу. И Муста незаметно для себя вернулся в далекое детство, когда все люди бежали по дороге, когда били барабаны, и трубные песни не смолкали до утра. Варенье из вишен, сливы, инжира и моркови лилось рекой. Горы лепешек, лагман, угро, самбуса, хвороста на столах. Плов, десятки зажаренных баранов, жареная рубленая козлятина таких кусков и размеров, что не влезла бы в рот и великану. С какой-то грустью и гордостью Муста смотрел на свой народ – тучу нищих, неграмотных людей, всю жизнь не доедающих, копивших на свадьбу, и в один день, что накопили за долгие годы, не дрогнув, спускающих на счастье молодых. А потом сначала начинающих копить, чтобы когда-то через много лет закатить в беднейшем Таджикистане такой пир, такую свадьбу, которую порой себе не позволяют самые богатые короли.

Брата женили, и с новым членом семьи четырнадцатилетней Юсуман приехали в Россию. И когда умерла мать, идея женить младшего брата Мусте понравилась больше, чем может понравиться воздух задыхающемуся под водой человеку. Прожив год в России, старик отец так еще и не узнал, что его старший сын женат и живет в городе с русской женой. Постоянная ложь тяготила Мусту. Ехать на родину за невестой для младшего брата он отказался, говорил, что это теперь невозможно и надо взять русскую.

Так было больше шансов на разрешение его тайны. Делать было нечего, и старик отец на счастье Мусты согласился, но только с тем, что выбирать невесту для младшего сына будет сам. И теперь, когда все завязалось, Муста не жалел денег и ездил с отцом к Проскуриной, о которой ему рассказал кто-то с работы. А Проскурина, прознав, что Муста хирург, принимала их теперь не в кухне, а в самом доме. И когда они приехали в третий, последний раз до свадьбы, накрыла стол и заглядывала Мусте в рот, на все соглашалась и обещала, что все будет по лучшему разряду, не хуже чем у них там в кишлаке.

– Да вы не волнуйтесь, что мы, не понимаем, – говорила Проскурина. Зажарим вам барана, поставим вам на стол домашнего вина, рыбы пожарим.

На слово «рыба» старик Фердавси хмурился.

– Что, рыбу не надо?! – удивлялась Проскурина. Хорошо, черт с вами! Ой, извините. Вы кушайте, кушайте. Вот, попробуйте конфеты «Птичье молоко», и Проскурина подвигала гостям небольшую прямоугольную низенькую открытую коробочку с дефицитными конфетами.

Муста, чтобы не обидеть хозяйку брал по одной конфете для себя и отца. Старик недоверчиво смотрел на угощение, но по примеру сына клал в рот лакомство.

Конфеты Фердавси понравились, и он одобрительно закачал головой.

Проскурина расплылась в улыбке.

«Губа не дура. По семь рублей за малюсенькую коробочку, – думала Проскурина, улыбаясь старику.

В лакированной светлой стенке под бук блестел громоздкий тяжелый хрусталь – признак достатка и благополучия советской семьи. На стенах висели яркие полушерстяные ковры. Неподъемная, гудящая, как самолет, стиральная машина «Сибирь» стояла, чуть ли не посередине большого зала. Как реликвию в музее со стиральной машины сдували пыль и берегли, так и продолжая стирать ручную. Все «сокровища» были на виду, чтобы каждый, кто пришел в дом, знал, с кем имеет дело. Проскурина любила хвастаться людям с достатком, которые могли оценить ее дорогие вещи и «богатства». Перед бедноватыми Гаврилой с Прасковьей и другими небогатыми в деревне знакомыми Проскурина никогда не хвасталась. «Что ей, Прасковье, стиральная машина за пятьсот рублей, что она понимает, – гово-

рила Проскурина. Ей же она как козе баян до одного места! А вот человек с достатком, такой и оценит и одобрит. Прогресс!»

И перед приходом хирурга Проскурина все расставила на видное место, натерла хрусталь, почистила ковры. Подготовилась. И когда Муста, окинув дом Проскуриной и про себя оценив деловую хватку Валентины и ее мещанские анекдотические приемы, весело улыбался коврам, хрусталу, стиральной машине, Проскурина думала, что хирург одобряет, и была счастлива и решила не припрятывать больше обычного приготовленного на торжество. Свадьба пристала быть веселой!

– Берите еще, предлагала Проскурина.

– Спасибо большое. Мы вот зачем собственно приехали.

– Да, слушаю вас. По меню?

– Нет. Пожалуйста, за это особо не волнуйтесь, все несите гостям на стол. Свадьба должна быть веселой, стол богатым. На нас не смотрите. Нас всего с женихом будет четыре человека.

– Как на сватовстве.

– Да.

– Понимаю. Женщинам не положено.

– Да почему же! Дело в том, что девочки еще маленькие, а жена среднего брата беременна, на последнем месяце. Мы хотели немного пораньше уехать. Нет, не подумайте, гости пусть гуляют и пьют за здоровье молодых.

– Да ради бога. Положено так?

– Да почему же? Просто отец еще хотел в тесном кругу отпраздновать свадьбу.

– Понимаю, понимаю. А как же второй день. Будет?

– Конечно, разумеется, празднуйте все как положено.

– А жених с невестой?

– Да почему же?! Я поговорю с отцом. Только, пожалуйста, если можно конкурсы на свадьбе...

– Не одобряете?

– Ну почему же сразу не одобряю.

– Неприлично?

– Да отчего же? Мы такие же, как вы.

– Значит в меру?

– Пусть будет, как будет, – вздохнул Муста.

– Правильно, правильно, какая свадьба, такая и жизнь! У нас свадьбы ух. И жизнь такая.

– Да и у нас свадьбы с размахом.

– Не знаю, не была. Пригласите? – засмеялась Проскурина. Кольца купили?

– Да.

– Молодцы. Бог даст хороший день будет, а мы со своей стороны постараемся. Да, свекор? – и Проскурина подмигивала старику Фирдавси.

VI

А утром была свадьба!

– Зачем пожаловали?! – весело спрашивали мужики у ворот и не пускали жениха с дружком на двор невесты. Ничего не знаем! Не пропустим. Да?!

– Да, не пропустим!

Смех, гогот, играет гармошка.

Старик Фердавси Абуабдулло в дорогом, праздничном, расшитым золотом халате и в бархатной темно-синей тюбетейке смотрел радостно. Ему нравился смех, веселье, десятки незнакомых счастливых улыбающихся лиц.

Жених Зариф был в черном костюме и в такой же тюбетейке, что и на старике отце. Молодой как будто был легонько «обстрижен», как велит традиция. Он всеми силами старался скрыть волнение и вести себя, как можно серьезней, но на радость всем не мог ничего собой поделать, чтобы не улыбаться. Дрожал и улыбался к удовольствию гостей и родственников невесты. Гармонист подмигивал бабам и показывал на Зарифа, что, мол, дело ясное, жених!

Муста был на свадьбе за дружка в голубом костюме и в щегольском алом галстуке «селедка», так удачно гармонизировавшим с обязательными атрибутами его почетной должности, алой атласной лентой и поролоновой белой розой в петлице.

Шавкат в расшитом золоте халате и тюбетейке держался ближе к отцу и поначалу, как и младший брат, жених вел себя сдержанно. Ему было тяжело. Неизлечимая болезнь с каждым днем все сильнее давала знать о себе, а тут еще август выдался жарким и сухим, как это часто бывает на Дону. Но, не замечая того, сам Шавкат начинал улыбаться, заражаясь радостью и весельем от окружающих. И боль, и тяжесть как будто отходила, тонув в свадебной веселой кутерьме.

Муста на собственном примере, зная, что к чему, достал из кармана шоколадку «Аленка» и наивно стал предлагать веселой «страже».

– Нет, не годится, – хором весело закричали мужики. – Это вон Олесе.

И шоколадка под общий смех из рук мужиков перешла к счастливой девчухе с бантами.

– На водку давай! – стали просить мужики.

– Вот угощайтесь, угощайтесь за здоровье молодых, – подскочила к мужикам разодетая в «шелка» Проскурина. В черной, словно бархатной, юбке и в белоснежной, легче перышка блузе, она держала бутылку и наполненный стакан и подставляла под нос мужикам водку, соблазняла тех, чтобы не платить. Но мужики не поддавались и стояли на своем, запросив три рубля за проход на двор невесты.

На дороге рядом с домом невесты останавливались люди, проходившие мимо. Смеялись и на минуту-другую забывали, куда идут. Сильно спешившие по делам хоть и не останавливались, но все равно не могли оставаться равнодушными и еще долго оглядывались и выворачивали шею в надежде увидеть невесту. А детвора, завидев издали свадьбу, что было духу, неслась к дому Столовых, чтобы потом всей деревне хвастаться трофеями – карамелью и медными копейками, за которые еще предстояло побороться в пыли.

Муста достал из кармана сразу две купюры по три рубля и под общий восторг стал отдавать мужикам.

– Хватит с них и трешки, – закричала Проскурина.

– Пошла, пошла. Дружку видней! – отвечали довольные мужики, брали деньги и распахивали ворота перед родней жениха, и всеми, кто пришел на свадьбу и стоял за воротами.

Галя не спала всю ночь, но она как будто и не чувствовала усталости. Румянец заливал лицо невесте, и если бы кто поднес руку к ее раскрасневшемуся лбу, то, наверное, обжегся. У Гали от волнения был жар, но не такой, от которого с высокой температурой кладут в больницу, а такой, с каким, наверное, молоденьких девушек ведут под венец. И пусть Галя никогда не видела своего жениха, она была счастлива. Казалось семнадцатилетней Гале, что новый мир открывается перед ней. Никто никогда из молодых людей не обращал на Галю внимания, а тут сразу муж. Она будет любить его, какой бы он не был – давала Галя в сердце обещания. И провалиться мне на месте, если бы это было хоть на секунду неправда. И как могло это быть неправдой! Ну, кто, скажите, влюбляясь, думает о чем-нибудь худом? Пускай даже и заочно. А на свадьбе, когда кричат «горько», даже если и заставишь себя думать о плохом, слава Богу, есть в свадьбе такая сила, что гонит из сердца все скверное прочь. Не было еще никакой трагедии в том, что Галя выходит не по любви за незнакомого человека, словно как будто из другого мира со своими незнакомыми Гале обычаями и правилами. Все это случится по окончанию свадьбы, после всеобщей радости, когда уляжется мимолетное счастье, кружащее головы гостям и невесте.

На какой свадьбе не верят, что все сложится, заживут молодые на радость родителям и счастье своих будущих детей. И Муста вот тоже верил в счастье молодых и радовался за младшего брата. Зариф был смышленным, только что гордый и ретивый, как молодой жеребец. По приезду в Россию старший брат нанял для Зарифа репетитора из города. Пожилой учитель из Зернограда приезжал три раза в неделю. Зариф, словно волчонок, смотрел на седого мучителя в очках, всем своим видом показывая, что презирает того, и если бы не наказ отца и почтения к брату, русский придиричивый старик, осмелившийся его учить, летел бы с порога вперед головой. Было в молодом Зарифе что-то, что настораживало старшего брата. Пристальный взгляд на улице мог вызвать у юноши ярость, за которой скрывалась обида. Муста видел это и много разговаривал с младшим братом, пытаясь объяснить, что никто не желает им зла, что это простое человеческое любопытство. Но Зариф всегда был непреклонен и считал, что их никто не считает за равных, что они чужие для новых соседей. Пожалуй, из всех членов семьи Зариф больше всего переживал переезд в Россию и тосковал по родному кишлаку, и тоска перерастала в недоверие к местным и русским вообще. На одно уповал Муста – на образование, что Зариф выучится и все поймет. Носил брату книги. Зариф, как Муста, все схватывал налету, сносно читал, закончив на родине пять классов. Но если Муста всегда видел в образовании надежду, дорогу, по которой он сможет вырваться из невежества и нищеты, получить положение в обществе, наконец, прийти на помощь семье, для Зарифа это была дорога в иной, совсем противоположный мир. Зарываясь с головою в книги, он сторонился всего, что было за окном, и когда вдруг отрывался и снова возвращался в реальность, где теперь не было место родине, которую у него забрали без его на то воли, становился еще более недоверчивым. С каждой прочитанной книгой, с каждым осмыслением той или иной вещи он смотрел на брата по-другому и уже за какой-то год стал недолюбливать брата за то, что тот напрочь позабыл и не придерживался обычаев своего народа. Не носил халата и тюбетейки, не молился вместе с ними, когда приезжал, и, главное, не с таким почтением, каким следовало, разговаривал с отцом. Зариф даже порывался уехать обратно на родину, и пусть это было только в мыслях, и об этом никто не знал, это было началом зарождения страшной ненависти к своему новому положению. Смерть матери сблизила Зарифа с семьей и в частности с братом, новая мысль, что надо держаться друг друга в чужой стороне стала занимать юношу больше всего остального. Он чаще возился с сестрами, помогал больному, сдававшему на глазах, Шавкауту. Предстоящая свадьба поначалу напугала Зарифа, и он не хотел жениться, но потом, когда начались приготовления, мысли об интимностях мужской взрослой жизни сильно вскружили впечатлительного молодого Зарифа. Он видел много русских девушек, и как бы он не сторонился всего, что

было теперь за окнами их нового дома, он ни раз ловил себя на мысли, что ему нравятся русские девушки. Их светлые волосы, белая кожа. Смуглые, в общей своей массе низкорослые таджички с волосами, заплетенными в две жидкие косички, проигрывали в глазах Зарифа донским красавицам, ходившим с высоко поднятой головой. И тогда ступив на двор невесты, Зариф, затаив дыхание, не шел, а словно плыл на волнах томительных сладких ощущений, что заставляют трепетать сердце, когда вдруг на вас сваливается свидание с незнакомкой, и воображение без особых на то усилий может рисовать самые обворожительные волнующие портреты, заставляя голову идти кругом.

Как только жених с дружкой шагнули на двор невесты, на их пути друг за другом вырастали необыкновенные волшебные преграды из веселых заданий для жениха и его свиты, которые отсрочивали встречу с невестой, рассыпая радость на всех вокруг.

Сначала давали выпить воду из трехлитровых стеклянных баллонов, чтобы достать со дна ключ от воображаемой светлицы невесты.

Хозяева не скупились и под общий смех явили жениху сразу пять баллонов, наполненных водой и все с ключами.

Мужики смеялись:

– Пей до дна, будет, где гулять.

– Ну, у Гаврилы и хоромы, – кричали другие. Целых пять комнат!

Жених с дружкой мужественно осилили целый баллон.

– Да хватит. Пожалеи! – закричали мужики и в смех. Смотри, сил до главного не будет! Давай, дружок, посуду.

И оставшиеся банки брали гости и только делая вид, что пьют, по-тихому выливали воду на землю.

Все пять ключей отдали Зарифу.

Потом были путы – импровизированная изгородь из натянутых резинок, через которые надо было перелезть жениху. Жених пробирался через путы, потом тут же рядом на табуретке находил ножницы и расправлялся с резинкой, открывая путь остальным.

Смуглый таджикский паренек вошел в кураж, лихо пролез через натянутые эластичные веревочки и под общее ликование разрезал резинку. Зарифу нравилось на русской свадьбе, и он нравился всем вокруг. Молодой, задорный, с волосами чернее смолы и горящими глазами. Жених хоть куда. А то, что нерусский, да чепуха, оботрется! Так думали все вокруг и веселились, и даже сам Зариф на долгие минуты забывал о покинутой родине, об умершей матери и переставал чувствовать себя среди русских чужим.

С веселым шумом вошли в дом.

В перешитом с чужого плеча свадебном платье, нарядная Галя не знала, куда деваться от помощи и взглядов, что с самого утра каждый считал своим долгом подарить невесте, все равно, как в начале весны преподнести любимым женщинам цветы. Все Галю подбадривали, старались помочь советом и делом. С петухами в дом Столовых набежали девушки помогать Гале одеваться и делать прическу. Большую русскую печь занавесили ковром, который принесла Проскурина. Лавки и старый стол вынесли вон. Поставили модную и дорогую тумбу, гладкую, полированную под дуб, дорогой стол и мягкие стулья, одолженные Проскуриной ради свадьбы. Все намыли и начистили. За накрытым столом невеста сидела с дружкой в ожидании жениха. И не было в тот момент счастливей Гали на свете, и вся ее вроде бы врожденная непривлекательность отступила. Радостные, сверкающие глаза невесты преображали и озаряли Галю с ног до головы, все одно, что бриллиантовая диадема. Да что там бриллианты, они по сравнению со счастьем невесты – серые грязные песчинки, про которые и неприлично упоминать, не то, что даже сравнивать. Счастье невесты – такое украшение, что будет дороже любого сокровища. И пусть такое счастье бывает мимолетным, не навсегда задерживается на всю жизнь, но даже за то, что оно гостит хоть короткие часы, надо отдать

жизни поклон. И простит автора строгий критик за то, что он носит с чувством невесты, как с манной небесной, и то там, то здесь рассыпает его по странице. Есть у автора на то оправдание и главное право. Ведь сколько их, таких, в жизни минут?!

Никого не слушай сердце, собирай мгновенья счастья по крупичкам, чтобы знать, что в жизни не одни только беды, когда эти беды обрушиваются на наши головы. Тем более что в жизни невесты этого счастья через мгновение не стало. Мимолетное счастье надолго исчезнет из Галиной жизни и дорого попросит за то, что гостило.

Крупная некрасивая Галя напугала Зарифа, но он не подал вида, но вдруг так содрогнулся внутри, что это почувствовал старший брат. Муста сам оторопел. Он сам воочию никогда не видел невесты. Отец Фирдавси говорил, что красавица, лучше и мечтать нельзя. Мусте сделалось стыдно и еще больше тяжело. Муста лучше других знал характер и обидчивость младшего брата и задолго до того, как все проявилось, понял, что нажил себе страшного врага в лице собственного брата, который его возненавидит, станет мстить и никогда его не простит. Он отвел от Зарифа глаза и подошел к невесте за стол, где, кроме дружки, рядом с невестой прямо на стуле для жениха сидел мальчик тринадцати лет, крестник Гаврилы Прокопьевича, Гриша Кузнецов. Всю жизнь промечтав о сыне, отец невесты не чаял души в крестнике, как в родном, так что завидная роль продавать невесту досталась маленькому Грише. Курчавый белокурый Гриша сидел и чувствовал себя все одно, что хитрый продавец картошки во время зимы, когда вдруг у всех разом померзла от мороза картошка, а этот сберег и теперь сидел среди ведер с розовой уцелевшей картошкой, как король на золоте. Цена, как не кусайся, а не отобьет у покупателя охоту. Так вот и наш продавец про себя решил, что меньше, чем за десять рублей невесту не продаст и место жениху не освободит. Но не знал Гриша, что сегодня ему светит куда больше куш, чем десять рублей.

Муста сердцем чувствовал удар младшего брата и как Зариф смотрел на него и, возможно, даже проклинал. Мусте хотелось скрыться, если можно, провалиться под землю, хотелось со всем скорее покончить. Муста машинально залез во внутренний карман, где хранились все деньги, что он собирался подарить молодым за свадебным столом, и высыпал на стол перед Гришей «гору» сторублевков – три тысячи рублей.

Все ахнули.

Маленький Гриша испугался. Ни разу в жизни не видевший столько денег, мальчик ошалело смотрел на купюры, и какие только мысли не крутились в его белокурой головке, что дядя пошутил, а если не шутит, то все равно заберут. А еще непременно влетит, если он прямо сейчас возьмет и все это богатство попрячет по карманам.

– Да, дела! – громко выдохнул кто-то.

Все зашептались. Проскурина подскочила к Мусте и стала просить и дергать его за рукав:

– Забери! Ты что, такие деньги. Забери, никто слова не скажет!

Но Муста как будто ничего не слышал и с каким-то оправдывающимся взглядом смотрел на жениха. Зариф, бледный, воспаленными глазами переводил взгляд то с денег на брата, то с брата на невесту, и Мусте казалось, что напряжение между ним и Зарифом было такой силы, что еще самую малость, и весь дом мог вспыхнуть или кто-нибудь из них лишится чувств и упадет в обморок. Муста не выдержал и первым опустил глаза, Зариф отвернулся и к всеобщему ужасу вдруг сделал шаг уйти. Но в дверях уперся головой в стену из гостей. Он замер, словно окаменел, не пытался растолкать гостей, остановился и заплакал.

Проскурина, смеясь, подбежала к деньгам и в громком смехе сводницы утонули слезы жениха, и никто не заметил, а у тех, у кого слезы навечно запечатлелись в памяти, даже не отдавая себе отчета, лишь только по велению сердца мысленно клялись жениху, что его тайна умрет вместе с ними.

– Ну и дружок, – выкрикивала Проскурина, – ну и шутник! И ловко одним взмахом сгребла со стола все, кроме одной купюры.

Взяла оставшуюся на столе сторублевку и отдала маленькому Грише.

– Вот тебе, на велосипед. Скажи дяде дружку спасибо.

– Спасибо, – отвечал радостно Гриша и прятал деньги, счастливый оттого, что теперь, наверное, точно не заберут, и в конечном итоге не все так плохо для него закончилось.

Гриша спрятал выкуп и уступил место жениху.

Проскурина со смехом и только ей присущей находчивостью и артистизмом продолжила спасать положение. Она подхватила под руку жениха и незаметно для него самого усадила вместе с невестой. И дом утонул в радостных возгласах.

Зариф был оглушен и смотрел на всех, как потерявшийся человек, ищущий спасения.

– Ошалел от счастья, – кричали гости.

Жених все никак не мог расстаться с букетом и подарить его по обычаю невесте.

– Ну, дает, – кричали мужики. Кто наливал жениху?!

– Вам бы только глаза залить, – отвечала Проскурина.

– От тебя, гляди, дождешься! – и пол и стены дрожали от смеха.

Нарядная Прасковья в зеленом длинном платье и модных бусах из крупного золотого янтаря ласково, по-матерински говорила жениху:

– Не слушай их, сынок. Не волнуйся, не волнуйся. Букет невесте подари.

Зариф смотрел на незнакомую женщину с таким добрым и светлым лицом, что каждый изгиб, каждая морщинка согревали сердце.

Зариф подал невесте букет из алых роз, и Галя робко, под замирение гостей брала цветы.

Бабы заплакали. Прасковья тоже не удержалась, сердце матери сжалось, и по щекам бежали самые дорогие для матери слезы.

– Подходите, мужики, – подзывал Гаврила Прокопьевич и трясущимися от волнения руками наливал водку гостям. – Закусывайте на дорожку, закусывайте, – угощал отец перед дорогой в загс.

Все последующие часы в загсе и во время свадьбы Зариф был как в тумане или, скорее, как во сне. Словно оглушенная от взрыва рыба, что всплывает со дна, и тогда делай с ней, что хочешь, Зариф, не оправившись от удара, шел, куда указывали, говорил, что просили. Принимал теперь уже с женою Галей поздравленья, стоял как в бреду, снова и снова подставляя в загсе щеку гостям. От непривычки у Зарифа зудел палец под обручальным кольцом. Во рту стоял приторный противный вкус теплого лимонада, что по обычаю давали пригубить молодым. И пока за свадебным столом Зариф не отправил в рот первый попавшийся кусок, мучился жаждой.

Брак регистрировали в Зернограде и после регистрации шли по главной улице города. Возлагали цветы к вечному огню. Фотографировались. А потом за свадебным столом неустанно заставляли целовать некрасивую невесту. И Зарифу казалось, что его кошмару теперь не будет конца.

Зариф пару раз пытался заглянуть старшему брату в глаза, но тот пытался не встречаться взглядами, говорил мало и совсем не улыбался в отличие от отца.

Фирдавси радовался, показывал желтые зубы, когда улыбался и одобрительно на все кивал головой.

Галя за весь день и вечер так и не решилась заговорить с мужем, который теперь по идее хоть и должен был быть для нее самым близким человеком, так и оставался незнакомцем. И самое болезненное впечатление, производимое на Галю, то, что Зариф ничего не делал, чтобы это изменилось. Внутренне Галя уже понимала, что это могло значить, и содрога-

лась. И чем ближе приближалась ночь, невесте все трудней и трудней становилось улыбаться гостям.

С приближением ночи Зариф сам вдруг вспомнил о брачной ночи, о том, что его оставят с Галей наедине, и стал бледным.

В десятом часу Старик Фирдавси встал из-за стола и закивал на гостей.

– Говорить хочет? – спрашивали друг друга гости и наливали в ожидании слов. А он все только кивал да кивал.

«О, черт лысый», – выругалась про себя подвыпившая Проскурина, и, толкнув в бок соседа, сказала вслух:

– Домой собирается.

– Да ведь рано еще! – удивлялся сосед.

– Принято у них так! – деловито отвечала Проскурина, хоть и знала, что ничего не принято, но была за ней слабость выставлять на показ свою «ученость» перед простым деревенским жителем, и Проскурина не упускала удобного случая. Притом, что очень любила деревню и никогда не променяла бы деревню на город.

Проскурина поднялась. Подарки уже давно были подарены, деньги посчитаны и хранились при ней. Денег подарили совсем немного, не считая тех самых, что Проскурина спасла, да еще рублей сто, не более. Деревенские все больше дарили вещами. Посуду было некуда составлять. Родной дядя Владимир Николаевич подарил пылесос. Родители невесты сказали, что дарят холодильник, и Григорий Николаевич уже мысленно откладывал все до копейки, чтобы скорей исполнить обещанное и снять с сердца тяжелый для отца груз. Был еще палас от бабушки невесты и кое-что еще по мелочи.

– Проводим, гости, молодых, – сказала Проскурина.

Хорошо сказала, так, что никого не обидела, словно так было надо. Деревенские, приученные не перечить начальству, а Проскурина на свадьбе была вроде того председателя, стали разливать водку по стаканам, чтобы проводить молодых и на прощание выпросить поцелуй – двухсотый по счету.

Молодые поднялись из-за стола и устало смотрели на гостей, и уже после нескольких часов свадьбы не вдумывались, что им говорят, и только как машины по электрическому разряду начинают работу и выполняют заложенную в них программу, под крики «горько» приближали друг другу лица и касались друг с другом губами.

– Всякое в жизни бывает, – стала говорить Проскурина, – а на то она и жизнь. Уступайте друг другу и совсем сладите! Живите дружно, не забывайте родителей. Родители всегда помогут, на то они родители. Будьте счастливы!

Проскурина делала плоточек из рюмки и весело кривилась.

– Горько. Ой, как горько, – и сотня голосов, как по команде, затягивали до боли знакомую каждому русскому гулкую песню надежды.

Проскурина отдавала деньги отцу жениха и говорила, что остальные подарки, если хотите, можно забрать хоть сейчас, но лучше завтра или в другой удобный день, на том и решили.

Прасковья с Гавриилом Прокопьевичем целовали дочку и все никак не могли с ней проститься. Столов не скрывал слез, и как когда-то, когда Галя была совсем еще крохой, нежно прижимал дочку к груди. И Галя еще долго оглядывалась на отца с матерью, когда ее вели в невиданную прежде жизнь, и была такая минута, когда ей вдруг хотелось от всего отказаться и обратно вернуться на грудь к любящему отцу.

VII

Всю дорогу до дома не проронили ни слова. Зариф чувствовал, как Галя дрожала. Юному Зарифу, только испытавшему страшное чувство, когда тебя предали, сделалось жалко Галю. Не так уж сильно он был еще отравлен, чтобы окончательно возненавидеть ее, но к горю обоих, как бы Зариф не боролся с собой, он так и не мог взять свою жену за руку, чтобы ее успокоить. Без его на то воли, по страшному жребия судьбы, как только Галя вошла в жизнь Зарифа, она стала олицетворением предательства родного человека и теперь уже никогда не могла бы стать чем-то иным – женою, другом, и со временем все предвещало стать еще страшней и ужасней.

Наконец-то приехали. Галя не знала, чего ей бояться, и боялась всего. Большой дом Бабоевых горел от электричества. Из всех окон бил свет. Галю встретили две маленькие смуглые девочки и беременная Юсуман, жена Шавката. Это была невысокого роста девушка, уставшая на вид, с большим животом, который казался больше ее самой, было видно, как Юсуман было нелегко, как она, наверное, никак не могла дождаться рождения ребенка и считала дни.

Юсуман совсем не улыбалась; в нарядном, длинном, темном платье и в платке она равнодушно принимала невестку, озабоченная своим, и делала все, как автомат по заученной программе. В зале на большом ярком ковре был приготовлен праздничный обед: плов, жареная козлятина, лагман, угро, самбуса, виноградный сок, красное вино и фрукты. Все было расставлено по кругу, большой казан с пловом стоял в середине на деревянной доске, чтобы не испортить ковра. Тарелок и столовых приборов не было. Большие пиалы с водой как бы указывали, где устраиваться, напротив них и садились. Ели руками и, когда нужно было взять новую лепешку или выпить вина, мыли жирные от плова пальцы в пиалах с водой.

Юсуман взяла Галю за руку, и пока мужчины устраивались за праздничным «столом», увела ее в дальнюю глухую комнату без окон, где для невесты была приготовлена одежда.

Юсуман сняла с Гали свадебное белое платье, сшитое на европейский манер, и подала прямое, словно из золота, тяжелое и сияющее. Галя сначала удивилась, что платье ей по размеру, но потом сообразила, что его, наверное, специально готовили для нее. Как любой девушке могут нравиться трюки с переодеванием, Галю не испугала смена наряда. И она была послушной. Вместо фаты Юсуман надела на Галю специальный свадебный убор, отличающийся от чадры только тем, что был нарядного красного цвета, а сверху на голову надела что-то похожее на покрывало голубого небесного цвета. И получилось, что Галя как бы в капюшоне. В заключение Юсуман стала надевать на Галю незначительные ювелирные украшения: серебряные и медные браслеты, один крупный аметист на тонкой золотой цепочке и несколько колец на руки от обыкновенных медных до золотых.

Под крики и хлопки в ладоши Юсуман вывела невесту, чтобы на нее посмотрели.

Невеста должна была стоять скромно, не поднимая глаз. Галя про это ничего не знала, но, словно угадала то, что от нее ждали и хотели увидеть, и стояла все одно, когда приходил Фирдавси на смотрины. Целомудренно и не поднимая головы в знак того, что она будет всегда послушна мужу.

Фирдавси и в этот раз остался довольный и хлопал в ладоши. Потом невесту увели в ту же комнату, где она переодевалась, и оставили одну, как Галя догадалась, ждать мужа.

Галю от волнения бил озноб. Каждая минута, приближающая встречу с мужем, казалось, словно отнимала у Гали месяц жизни, так она бледнела и становилась непохожа на себя. Комната была небольшой, без окон, только широкая кровать и узкая полоска света из-под двери. Ну и окажись комната с размером в банкетный зал, Гале все равно бы казалось мало места, и некуда было бы спрятаться от мужа, все равно, как от мысли, от которой

не убежишь, если она пришла вам в голову и лишает покоя. Начнешь думать о чем-нибудь постороннем, а навязчивая мысль возьмет и появится, словно из ниоткуда, так и Галя, как бы не старалась думать на отвлеченные темы, мысль, что сейчас придет муж, давила на Галю в этой темной комнатке все одно, как пресс.

«Будет ли любить, понравлюсь ли я ему», – переживала и страдала несчастная Галя и вспоминала, как муж смотрел на нее, как Зариф был печален и расстроен, словно как на похоронах, и вздрагивала, и скоро не выдержала и разрыдалась, предчувствуя самое страшное, что муж ее никогда не полюбит.

Зариф так и застал свою жену в слезах. Он дрожал и прежде только и думал, что сейчас он войдет, и ему придется целовать некрасивую Галю, и всю свою жизнь будут наставать такие моменты, что он должен будет оставаться с женой наедине, чтобы она забеременела и родила ему детей, чтобы он смог продолжить свой род. Было страшно и мучительно прожить всю жизнь с нелюбимой, но еще страшней и невыносимей для Зарифа было войти в ее комнату в самый первый раз. Слезы жены поначалу как-то взбодрили и успокоили Зарифа мыслью, что может быть сегодня и не придется притворяться и целовать жену. Но как только закрылась дверь, и Галя подняла на мужа заплаканные глаза, и страшная, без минуты счастья, горькая жизнь так и хлынула на Зарифа из Галиных глаз, Зариф стал мечтать о поцелуях, которых он так прежде боялся. И так было больно и тяжело осознать, что и таких, пусть даже и притворных поцелуев, может никогда не быть вовсе, а только вот эта темная душная комнатка и оба несчастных, загубленных сердца в ней – вся жизнь.

VIII

За двадцать лет замужества Галя не провела с мужем целой ночи вместе. Зариф, когда он этого желал, приходил к Гале с сумерками и уходил до наступления рассвета. Днем они встречались реже, чем ночью. Зариф проводил дни напролет за книгами, и стоило больших усилий, чтобы он вышел из своей комнаты. И Галя больше знала, что у нее есть муж, чем видела своего мужа воочию. Никогда они ни о чем не разговаривали, и с годами их встречи наедине становились все реже, а в последние годы и вовсе прекратились.

Галя знала с самой первой ночи, что у мужа она вызывает лишь боль, и что ничего на свете не заставит Зарифа ее полюбить, ни дети, ни ее нежность, которую она безответно станет ему дарить под покровом темноты своей маленькой комнаты. Куда он пусть и приходит, но только как какой-нибудь изнывающий от жажды путник может наброситься на грязную лужу, смочит губы и в тот же миг опомнится и убежит прочь, до следующего обострения жажды. И та самая первая их ночь наедине, сколько отчаянья и безысходности было в глазах обоих. С годами Галя и вовсе перестала замечать в глазах мужа какое либо страдание, связанное с неудачным несчастливым браком. На смену пришло более страшное явление – равнодушие, и словно всего целиком подчинила себе Зарифа. Но Галя никогда не испытывала злобы или ненависти к Зарифу. Того, кого совсем еще юношей не спросив, женили на некрасивой девушке. Они были заложниками судеб, но к несчастью обоих так и не смогли стать друзьями, пусть даже и друзьями по несчастью. Время, как течение реки, оставив одного на берегу, а другого усадив на плот несбывшихся надежд и свершений, с каждым годом все дальше безвозвратно уносило Зарифа и Галю друг от друга. И по истечению двадцати лет, не взирая на то, что они жили под одной крышей, Зариф и Галя окончательно и навсегда потеряли друг друга.

Большая часть Галиного дня приходилась на ведение хозяйства. Двадцать лет замужества Гали, что прошли в доме старика Фирдавси, могли бы уложиться на одной странице, и так были скудны на события и похожи друг на друга, что под конец описания пришлось бы мучиться и подыскивать слова. И самое значимое, конечно, рождение детей, которое скрашивало и наполняло жизнь Гали более важным смыслом, чем мытье полов и приготовление обедов.

Как порою случается с братьями, это были абсолютно разные люди, но скорее не потому, что так устраивает природа, в случае с этими братьями было все по иному, а потому что именно один был старше другого на шесть лет. Именно разница в возрасте сыграла злую шутку. Старший, Карим родившийся раньше, с первых шагов больше тянулся к улыбчивому, интересному во всех отношениях, дяде, чем к замкнутому мрачному отцу, что сразу почувствовал Муста и пробовал на Карима влиять. Пока Зариф окончательно не утвердился, что Муста благодатно оказывал на Карима влияние и старался его увлечь науками и искусством. Карим хорошо учился, дополнительно занимался иностранным языком, ходил в класс художеств и уже с десяти лет мечтал стать врачом, как дядя. Но в одночасье все оборвалось. К тридцати годам Зариф окончательно и бесповоротно возненавидел чужую страну и всех, до последнего русского, кто в ней жил. Вспомнил, что у него есть дети сыновья, которых проклятый старший брат, вон из кожи лезет, чтобы сдружить с врагами, сделать такими, кто изуродовал их собственного отца. Зариф забрал сыновей из школы и запретил старшему брату даже приближаться к племянникам. Тревоги Мусты начинали сбываться. Кариму тогда едва исполнилось четырнадцать, а Омару и того восемь. Карим тяжело переживал и ушел в себя, мог подолгу не разговаривать. Он не мог и не хотел разом за то, что его отцу когда-то сделали больно, возненавидеть своих друзей, одноклассников, учительницу по английскому языку, силача физрука. Его все так любили. О, если было плохо и не было

вовсе друзей, не было бы так тяжело. Омару в его восемь было намного легче, он к ужасу положения лучше поддавался страшной дрессуре родного отца и уже скоро запросто мог запустить камень в прохожего только за то, что тот был русским, не понимая, что по сути тот, которого он так больно ударил, такой же, как и он, и родился с ним на одной земле.

Карим возненавидел отца, того, кто разом взял и отнял у него надежду выучиться, стать врачом, как дядя, и только брат и любовь к матери удерживала Карима не сбежать из дома. Мысль, что матери и младшему брату придется остаться наедине с несчастным изуродованным отцом, держала Карима дома, как якорь держит корабль и не дает ему убежать по волнам. Муста это понял и не настаивал на побег, хотя с радостью принял и спрятал от отца племянника. Он всех спрятал бы, всех смог спасти бы. И тогда, когда ехал в Гуляй Борисовку, в дом покойного отца, чтобы сообщить Гале о смерти Гаврилы Прокопьевича, только и думал, почему его отец так долго жил.

Старик Фирдавси умер во сне. Как жил всю жизнь в какой-то особой реальности, имея свое виденье жизни, так и умер, даже не испытав намека, что, может, заблуждается. Смерть Фирдавси все встретили по-разному. Зариф, было видно, что даже переживал, видя в отце, словно ту икону и проповедника старых, пусть порою и диких, но канонов. Мысли старика, его виденье жизни, особенно отношение к русским, очень импонировали уязвленному, отравленному сердцу Зарифа. Со смертью отца Зариф как будто остался совсем один на чужой земле в окружении врагов. Внуки Фирдавси Карим и Омар как будто вздохнули, спокойно почувствовав послабление, но они еще не знали, куда их увлечет за собой родной отец, в какую яму им еще придется попасть. Галя как будто потеряла родного отца, по Гавриле Прокопьевичу Галя станет не так убиваться, как переживала по Фирдавси. И кто возьмется ее осудить, пусть подумает, что Галя видела за происшедшие двадцать лет. Говорят, что в одиночной камере паук может стать таким закадычным другом, что его внезапная гибель будет ранить сердце сильнее, чем новость о смерти родной матери. Не знаю, и дай Бог никому не знать. Конечно, Галя не была так, чтобы в тюрьме, но у родителей за двадцать лет она не была ни разу. И как бы того не хотела, привязалась к грубому, суровому старику всем сердцем. Потому что как бы там ни было, старик Фирдавси, хоть и ругал, учил правильной жизни, ходил, чуть ли не следом, пусть и в извращенном виде, но болел за Галю своей темной душой. Равнодушным точно не был. А Зариф все равно, что прохожий, спросит время, украдет минутку и убежит. Земля круглая, даст Бог, свидимся.

Мусте некогда не было стыдно, что он видел в смерти старика Фирдавси спасение. Если только немного страшно сердцу, но разум не сердце, и Муста заглушал страх сердца здравыми рассуждениями.

«Умри ты двадцать, но хотя бы десять лет назад, – думал Муста об отце. Еще можно было спасти Зарифа, но если не Зарифа, то его детей, – Муста вдруг осекался, хотелось к черту бросить руль. Спасти детей! А что мешало спасти Карима с Омаром? По сути, лишь трусость! Я должен был их забрать, должен был их вырвать хоть с кровью, хоть с боем, все равно, как, пусть был бы проклят собственным отцом. Что я делал все эти годы, ждал, пока умрет отец! Ну, вот он умер, а спасти теперь стало еще тяжелее, чем прежде. Что же теперь, ждать, пока умрет Зариф, но скорее умру я сам, чем он. Зариф сильнее отца, а еще злее, злее во сто крат. На что я собственно истратил свою жизнь, если никого не смог воскресить для новой жизни, а, наоборот, стал причиной гибели очередных невинных сердец. Что оно выйдет с Омаром? Карим несчастный светлый двадцатилетний юноша, он словно принимает от меня страшную эстафету».

С годами Муста только больше стал себя во всем винить. Во всех горестях и бедах своей семьи видел свою врожденную деликатность и порядочность, которую спустя годы стал считать своим проклятьем и был готов теперь на многое, если не на все, чтобы только зацепиться за надежду. Муста верил, что в преддверье самых страшных событий у чело-

века всегда появляется шанс, возможность опомниться и сойти с обманчивой дороги, утвердиться в свете, спастись, не может такого быть, что небо целиком и полностью отрешивается от человека. Нет и еще раз нет, до последнего шага, даже тогда, когда уже свершается зло, ангелы молятся за спасение души, надеются, что человек прозреет и свернет со страшной дороги. Порой даже могут на голову избранного обрушить ужас, но только затем, чтобы он понял и увидел разительную разницу между мраком и светом, увидел и прозрел. Что, и какой шанс будет у них, Муста еще не предполагал, но знал и клялся перед самим собой и небом, что если от него будет зависеть, чтобы этот шанс не пропал и не растворился, он пожертвует жизнью, всем, что у него есть, во имя надежды на прозрение.

Последние годы Зариф окончательно окреп в страшных заблуждениях, что все, кто не мусульмане, враги. Просто презирать русских Зарифу с каждым днем становилось все мало, яд, что за двадцать лет жизни в России накопило его сердце, так и просился наружу.

Последние недели Зариф часто стал куда-то пропадать из дома. Не раз Муста приезжал и не мог застать брата. Племянники и Галя только жали плечами, все они как-то последние годы жили, собираясь в какие-то стайки. Только несчастной Гале после смерти Фирдавси не с кем было даже поговорить. Карим, прежде переживавший за мать, отдалился от нее и примкнул к отцу, наверное, интуитивно больше заботясь о младшем брате. Зариф, чувствуя слабость сердца Карима к младшему брату, стал более снисходительно, даже где-то ласково, относиться к Омару, чем постепенно завоевал авторитет старшего сына. Все шло к пропасти, но никто об этом еще не знал.

Муста, как правило, ждал брата до последнего. Когда Зариф возвращался, на вопрос, где тот был, он отвечал «русского не касается». Последние несколько лет Зариф иначе, чем «эй русский», к старшему брату не обращался.

И в этот раз Зарифа дома не оказалась. Новость о смерти отца Галя встретила не столько с горем, сколько с задумчивостью, после которой впала в какой-то неистовое волнение, как, наверное, может случиться с человеком, который долгие годы не был на родине. Целую вечность не видел знакомой с детства улицы, отчего дома, родных и друзей. Словно все прошедшие годы и не помнил, забыл, а тут взяли и напомнили, и память растревожит ваше сердце, и сердце затрепещет.

До самой смерти своего отца, Гаврилы Прокопьевича, Галя не приезжала в родительский дом. По первому времени Галя переживала, как, наверное, любой, кого вот так за один день взяли и разлучили бы со всем, что у него было прежде. И если бы, конечно, не было новой семьи, обязанностей и забот, Галя от тоски, наверное, сошла бы с ума, а так «просто» забыла прежний дом и как прежде жила, тоже забыла. Надо сказать, что в доме мужа на Галю никогда не поднимали голоса, да и вообще в доме старика Фирдавси, как в любой исламской семье, кричать было не принято. Достаточно было одного взгляда, чтобы работа или любое дело шло, как следует, притом, что это никак не было связано и с рукоприкладством. Просто само собой было немыслимо и непонятно, чтобы к мужскому хмурому взгляду женщина может оставаться равнодушной. Устраивать перебранку, если хотите, было дурным тоном, пожалуй, Фирдавси перестал бы себя уважать, вплоть до презрения, если позволил себе до того опуститься, чтобы кричать на женщину. Ведь это значило, что бессилен и слаб. Женщина не должна бояться, женщина должна понимать, если женщина не понимает, значит это вина мужчины, а не женщины. Не правда ли есть в этом что-то подкупающее. О, если бы все народы перенимали друг у друга все самое ценное, то повторюсь: ей Богу, мы обошлись бы без романов.

Фирдавси был не против, чтобы родители Гали проводывали дочь. Ей же самой не столько запрещалось посещать родителей, сколько не рекомендовалось в процессе прививания заботы и любви к своему мужу и его родне. Был в этом какой-то тонкий психологический расчет. Вот так, чтобы только по одному взгляду, без слов и без эмоций у человека

всегда должен оставаться один авторитет, один на всю жизнь. Не поэтому ли, например, ребенок, пока не вырос и не ступил за порог дома, с полуслова понимает отца, а потом бах трах и родной отец не может сладить с тем, кому прежде хватало только сказать полслова. Вырос? Да нет, просто у человека от общения в обществе поменялись авторитеты, назовите это оценкой ценностей, которая на протяжении жизни может меняться не раз, а порою и просто становится извращенной в зависимости от обстоятельств. И скажите, как собственно у жены на первом месте всегда будет стоять муж и его родные, если она при этом будет продолжать общаться с прошлым миром, так, собственно, жизнь после брака не должна вносить в жизнь коррективы. Во все времена очень любят мусолить о свободе и правах брака, но почему-то никто при таких разговорах не говорит, что брак, как собственно и любовь, есть не просто связь между полами, а божественная нить, которая должна связать навечно. Но как, скажите, пожалуйста, эта связь может поддерживаться, и нить не порвется, если супруги будут не видеться, да еще вдобавок продолжать жить интересами и связями прошлой до брака жизнью.

Устои и правила приписывают молодым неукоснительно быть вместе и выбросить из головы все прошлые связи, и тут общество кричит о какой-то свободе. При всем этом только лишний раз убеждаешься, что правила были писаны далеко не обществом целиком, а отдельными его наиболее выдающимися представителями. Нет, конечно, все выше перечисленное не может оправдать перегибов, которые имеют место быть в жизни, но и согласиться в том, что в решениях Фирдавси не было здравого житейского смысла, будет несправедливым. Да, конечно, у Фирдавси светлая мысль была извращена, но желал ли он чего-либо дурного. Разумеется, нет. Мне так кажется, у неграмотных людей все именно происходит оттого, что они не умеют рассуждать и анализировать, сопоставляя одно с другим, а не от злобы. Это уже потом общество особо ценным считает сказать, это у какого-нибудь безграмотного все беды от злобы, да нет, порою, чтобы быть злым, надо больше понимать и разбираться в жизни, чем быть добрым. Ведь чтобы по-настоящему смертельно обозлиться на мир нужно уметь сопоставить, уметь рассудить, а откуда это по силам темному человеку. Не поэтому ли русские мыслители носились с русским мужиком, потому что понимали, что если русский мужик и рубит, то не потому, что злой, а потому что, по сути, не понимает или что еще чаще в России бывает, обманут.

Родители Гали, пока был жив Гаврила Прокопьевич, сами приезжали к дочери и общались с Галей под присмотром Фирдавси. Вот здесь то и начинались эти самые перегибы, ну и, конечно, что не пускали Галю в родительский дом. Ну, какие собственно были у Гали друзья, куда она могла пойти гулять по деревне, если ей вслед только и раздавалось «корова». Об этом собственно Фирдавси в сфере своей безграмотности рассуждать не мог и стоял над Галей, как часовой, и еще прислушивался, чтобы чего лишнего не сказали.

Такая опека свекра, как оно говорится, ранила без ножа отцовское сердца Гаврилы Прокопьевича.

– Ну, как тебе живется, дочка, – спрашивал Столов. Не обижают?

– Нет, что вы, папа!

– Вот, возьми, дочка! – и отец давал то сорок, то шестьдесят рублей, в принципе, все, что только у него было.

– Спасибо, – отвечала Галя, брала деньги и целовала родителей.

После чего Фирдавси, как правило, выходил из комнаты, тем самым приглашая невестку за собой, а гостям указывая на выход.

Галя тут же вставала и говорила всегда одно и то же:

– Мне нужно по хозяйству. Дел много!

Гаврила опустит свою седую голову и как будто о чем-то задумается, Галя уже ушла, а отец как будто пьяный сидит.

– Пошли, Гаврила Прокопьевич, – тихо скажет Прасковья, толкнет мужа в бок.

Они поднимутся, выйдут из дома, отойдут на десять шагов, и вдруг Гаврила, все одно, как если сердце кипятком ошпарили, вздрогнет, только что не закричит, и бросится обратно в дом зятя.

– Да что ты, Гаврила, остынь, остынь, – испугается Прасковья и повиснет на муже, все одно, что якорь, не пускает, просит остыть.

Ну, куда, к черту, как спокойным быть, когда по живому, да еще и огнем.

Приедет Гаврила Прокопьевич к себе домой, посидит с час на лавке, не шелохнется, а потом вдруг вскочит и на автобус до Зернограда в больницу к Мусте.

Зайдет в кабинет к хирургу сам не свой. Муста опустит глаза, у самого ведь тоже, слава Богу, сердце не каменное. Страшно. Ведь не про соседа разговор, про родного отца.

– Поговори, что ли, ты с отцом. Ну что мы все, как чужие, не знаем. И Галка, вон, уже как неродная. Пусть отпустят хоть на денек. Куда денется!

– Хорошо, я поговорю, – ответит Муста, а самому глаза стыдно и страшно поднять.

И так из года в год, ничего не менялось, словно подавай проклятой судьбе самое дорогое. Мало коварной королеве было тревог и переживаний отца, и только согласилась судьба отпустить Галю погостить в родительский дом взамен на жизнь Гаврилы Прокопьевича.

А Зариф вернулся только ночью. Муста все это время ждал, он знал, что Зариф с ним и в этот раз не объяснится и не скажет, где был. Муста догадывался, где пропадал брат, но сначала хотел точно убедиться, что не ошибается. В то, что Зариф мог быть у женщины, Муста не верил, слишком уж возбужденный он всегда возвращался после своих путешествий, все одно, как Горячий приходил после своих собраний. Знаете, чего-то такого размлевшего, согретого женским сердцем, как это случается от тайных встреч с любовницей, в Зарифе не было и следа.

Как представлял Муста брата двадцать лет назад, таким он и стал. Мрачный, с тяжелым взглядом хмурых густых бровей. Из подвижного мальчика с горящими глазами, который так всем нравился, Зариф превратился, знаете, в такого хмурого, не улыбчивого прохожего, что идет себе и идет, погруженный в свои мысли, и ни солнце, ни соловей на дереве его не заставят остановиться, ни другой какой просто повстречавшийся человек. Идет такой прохожий тяжело. Бывает, что озирается по сторонам. Так ходил и Зариф, и если поднимал на кого глаза, смотрел исподлобья, в любую секунду готовый наброситься на вас, не веря вам ни в чем, особенно если вы русский. Он был сложен, как атлет, но опять же такой атлет, что готовится к прыжку, немного сторблен и неистово напряжен. Лицо у него и в тридцать семь лет оставалось моложаво, может, потому что Зариф долгие годы не снимал маску ненависти. Не улыбался и не радовался. Не знало его лицо ничего, кроме черствости, как у того памятника мускулы на лице знают только одно выражение на лице, воплощенное скульптором, так и со смуглым лицом Зарифа после того, как предали сердце Зарифа, время, словно теперь было лицу неподвластно. Зариф носил чернее ночи бороду и такой же черный костюм, словно был в вечном трауре, не похоронил свою боль и обиду, не видел в жизни никакие другие цвета, кроме черного.

С братом они были непохожи и не только потому, что Муста был старше Зарифа на семнадцать лет. Все те тревоги, переживание и любовь, что Муста носил в сердце за своих родственников, отпечатывались на лице Мусты, и к пятидесяти годам его лицо было мягким и грустным, как у того мудреца, постигшего не только тайны, но и горести человеческой жизни. Все больше с каждым новым днем сердце Мусты задышалось от груза, что судьба возложила на Мусту. Нет, не то, что Мусте было тяжело нести страшный груз, Муста боялся умереть вместе с кровоточащей раной на сердце оттого, что стало с Зарифом и, главное, как его воскресить.

Муста все так же хорошо одевался, но в его походке и отношении чувствовалось, что его мало волнует, что на нем надето. И в какой-нибудь серой рубаше он также был бы велик и прекрасен, потому что не бросил все на произвол судьбы и только делал, что вызывал проклятую королеву на поединок. Вот он и сейчас мог не дожидаться брата и уехать и, может, таким образом сыграть на руку судьбе, но Муста, что бы это ни стоило, решил отпросить Галю на похороны отца, как будто в этом был заложен тайный смысл, шаг который будет вразрез судьбе. Муста верил, что с судьбой можно бороться, что судьба по сути бессильна и до тех пор не имеет над человеком власти, пока человек сам все не бросит на произвол. Судьба, как и положено королеве – безвольна и может принимать решения, если только ей позволят, позвольте вы.

Муста будет стоять на смерть, у Мусты не было другого выбора, он понимал, что две жизни ему не прожить, и если сейчас не делать, что тебе подсказывает сердце, значит это уже будет никогда не сделать.

Зариф как будто что ли даже обрадовался брату, словно ему от него было что-то нужно.

Муста еле сдержался, чтобы обнять брата. О, как давно он даже не жал руку родному человеку, только на расстоянии и исподлюбя.

«Что же значит этот неподдельный интерес, эта мимолетная радость», – думал Муста и готов был перевернуть мир, если только б знал, что это поможет.

Зариф как будто все понял и сказал, что надо.

– Мне нужны деньги! – сказал Зариф, хмурясь.

Ни Зариф, ни Галя, да и вообще никто в доме Фирдавси, включая самого покойного хозяина, никогда не работали и жили за счет денег, которые давал Муста.

Мусту не то, чтобы удивила просьба брата, а скорее насторожила, прежде Зариф никогда не просил ни на что, да и Фирдавси не просил. Проходил месяц, и Муста привозил деньги, которые, по сути, никуда особо не тратились. Фирдавси держал птицу, коз и с десяток баранов. Соль, сахар, чай, и все такое прочее тоже привозил Муста. И вещи тоже покупал из отдельных денег. Все деньги, которые давал старший сын, Фирдавси прятал в доме, не доверяя русским и панически боясь банков вообще и особенно русских. Когда менялись деньги, основная сумма пропала и теперь годилась только, чтобы обклеивать стены вместо обоев. Фирдавси страшно переживал, ругал проклятых русских, что его обманули, и пока Муста не привез отцу взамен испорченных денег две тысячи долларов, старик не находил себе места, вплоть до того, что не спал. Скорее всего, переживания насчет обмена денег и подкосили старика, прежде не знавшего, что такое болезнь. Хотя и были у старого Фирдавси теперь доллары, он все реже стал жаловаться на сердце и через несколько лет умер.

Те две тысячи долларов, что остались после смерти Фирдавси, перешли Зарифу, а Муста как прежде каждый месяц продолжал привозить некоторые суммы и все необходимое.

Муста и не думал, чтобы отказать брату, тем более что это было первый раз, когда он за много лет о чем-нибудь его спросил. Муста, может, только и ждал, чтобы брат обратился к нему с просьбой, но совершенно по понятным причинам, так, скорее, из любопытства с вопросом посмотрел брату в глаза.

– Тебя не касается, – отрезал Зариф.

Муста помрачнел.

– Ты мне должен, – зло сказал Зариф. Мне надо десять тысяч долларов и так, чтобы на следующей неделе. Я знаю, что у тебя есть.

Муста грустно смотрел в пол. Все, что у него было, и без того принадлежало всем им, Зарифу, сестрам, Юсуман с Фатимой и племянникам. У Мусты, кроме них, никого больше не было, но тогда Муста пожалел, что у него были деньги и положение в обществе, потому

что, может, если у него ничего не было, Зариф ничего у него не мог попросить так зло и яростно, рая и без того намучившееся сердце старшего брата.

– Отец Гали вчера вечером умер! – сказал Муста, не поднимая головы. – Я прошу тебя отпустить жену на похороны к отцу и вообще погостить, чтобы поддержать мать.

– Дай денег и пусть едет!

Муста вдруг встрепнулся и поднял глаза на брата.

– А если бы не дал?

Зариф соорил что-то вроде улыбки, но мысли его были зловещи, чтобы вышло что-то светлое.

– Не поехала бы. Но не потому я против, а только потому, что ты не дашь денег. За все надо платить, а ты же у нас хочешь всегда казаться благодетелем. Вот и плати! Притом, что ты должен мне спасибо сказать! Я делаю тебе одолжение и даже больше проявляю доверие к тебе, предавшему свой народ!

– Не говори так, это не ты, – закричал Муста и хотел взять брата за руку, но Зариф спрятал руки за спиной и кривился, шля брату зловещие улыбки.

– Я отпускаю жену, а деньги прошу только через неделю, разве это не проявление доверия.

Муста от отчаянья закрыл лицо руками.

– Я знаю, ты привезешь, не обманешь, может, это то единственное, что не смогли вытравить из твоего сердца русские, и ты остался верен обычаям предков, исполнять обещание.

Муста встал на ноги, бледный и подавленный, его заметно качало.

– Нам надо ехать сейчас. Завтра утром похороны, пусть Галя простится с отцом.

Зариф, не говоря ни слова, ушел в свою комнату, что, наверное, значило, что он все сказал, и что будет дальше, ему все равно.

Сначала Муста хотел просить отпустить вместе с Галей и сыновей, но потом понял, что Зариф ни за что не согласится отпустить Карима с Омаром, и радовался тому, что хоть удалось договориться насчет невестки.

Муста просил Галю собираться, а сам пошел на воздух, чтобы успокоиться и быть готовым сесть за руль.

Галя долго не знала, что ей надеть, и надела, что было – какое-то красное платье, даже не платье, а скорее сарафан. Этот сарафан несколько лет назад подарил ей отец Гаврила Прокопьевич. Когда бы родители не приезжали к дочери, она их встречала в одном и том же: в голубых шароварах и черном платье, все одно, что в форме, которую невестке выдал старик Фирдавси.

– Что же, дочка, совсем нет у тебя ничего? – с грустью и болью спрашивал Гаврила Прокопьевич. Что ты, как солдат, два года в одном и том же.

– Некуда мне ходить, а по хозяйству удобно!

– А если в гости к кому? Ну да ладно, ты это, не серчай, придумаем, что-нибудь.

И в следующий раз привез дочке обнову, этот самый сарафан, что теперь Галя надела. Надела в первый раз.

Прикусите языки, бабы сплетницы, что на похороны отца Галя вырядилась, как на праздник.

Смотри, Гаврила Прокопьевич, дочь твоя к тебе собирается, платье, что ты сам выбирал, для тебя надела.

За двадцать лет Галя, если чем и изменилась, только что от работы и жизни стала еще крепче и некрасивей: раздалась, порябела и стала бояться, на что раньше совсем не обращала внимания. Боялась грома, боялась ветра, что мог распахнуть плохо закрытое окно, и Бога, что с прожитыми годами, хотим мы этого или нет, все чаще приходит на ум. А еще во многом так

и оставалась ребенком. Семнадцатилетней девушкой Галя последний раз ходила на рынок и в магазин и, как ребенок, будь у него миллиард, соври продавец, что мороженое стоит цену в целую улицу, Галя поверила и отдала за мороженое столько, сколько порою не заработать за целую жизнь. И так практически во всем, как и ребенку, Гале было особо неважно, какой год на дворе, кто царь, кто министр. Хоть когда-то и привез Муста телевизор, его почти не включали, и он все равно, как сундук, без добра накрытый скатеркой стоял в уголке, что в такой сундук смотреть, если взять нечего. Так и с телевизором, что Фирдавси считал вещью пустой, даже вредной, вот и не смотрели. В доме Фирдавси было радио, которое почти никогда не выключалось и вещало на весь дом целые сутки, отчего на его «трескание» по большому счету уже никто не обращал внимания, все одно, что деревенский на корову и, наоборот, прислушивались, когда трансляции вдруг ни с того, ни с сего обрывались. Вот, как водопроводом бежит себе вода, и дела нет, а когда воду отключат, чаю так захочется, что неумоготу. Не работало радио, Фирдавси сам не свой, ходит и крутит, не сидится старику, а заговорит, и делу нет.

Как бы не показалось странным, за двадцать лет дальше роддома Галя никуда не ездила и не ходила. А собственно, куда ей было ходить. И так как Галя в семнадцать лет оценивала людей, так и в тридцать семь их видела. С возрастом она еще больше себя считала некрасивой и рассуждала так, что если человек посмотрит на нее без отвращения, не отвернется, не обругает «коровой», значит это хороший человек. О том, что взрослый человек не ребенок, у которого что на уме, то, как говорится на языке, а такой, что обмануть и притвориться может, Галя не думала, потому что по большому счету кроме старика Фирдавси за последние двадцать лет ни с кем не общалась. А Фирдавси, отдать ему должное, невестку никогда не обманывал и не обижал. А собственно, что старику было с того. Так Галя и не научилась понимать, где ложь, а где правда, и обмануть ее и больно обидеть, как и ребенка, не составляло труда.

Муста смотрел на Галю, когда вез ее в родную деревню, и понимал это лучше других.

Особенно Галю было легко обмануть с помощью притворного тепла, потому что она и настоящего толком никогда не знала. А то, что дарил отец, за двадцать лет растерялось, выпало из сердца да закатилось куда-то под лавку, найди теперь. От всего этого Галя была уязвима, и повстречайся ей на пути проходимец, поверила бы бродяге и мерзавцу, как родному отцу, и открыла бы сердце лишь только за капельку, за кроху тепла, пусть и притворного.

IX

Из Гуляй Борисовки в Мечетку доехали скоро. Подъехали к Галиному родному дому, остановились. Как положено в доме, где был покойник, не гасился на ночь свет, были настежь раскрыты калитка и двери.

На Галю было тяжело смотреть. Больше испуганная, чем взволнованная, она долго боялась выходить из машины и ступить в отчий дом. Отец, как бы там ни было, до сих пор оставался для нее живым и здоровым. Вот только на прошлой неделе Гаврила Прокопьевич приезжал к дочери в гости, и сейчас она должна была идти и смотреть, как отец мертвый лежит в гробу. Никогда больше не приедет, не обнимет свою дочь, не улыбнется, не загрустит. Было страшно, так, что хотелось убежать, но надо было идти.

– Я приду через неделю, – сказал Муста и открыл Гале дверь.

Галя вышла из машины, сделала пару шагов и вдруг повернулась и хотела бежать, так было страшно и невыносимо сделать тот самый тяжелый первый шаг, когда перед глазами откроется мертвый родной человек. И прежде чем начать судить Галю, вспомните сами, если уже вам пришлось хоронить родных, как может быть непомерен и невыносим тот страшный миг, который порою не перенести в одиночку даже самым сильным из нас.

– Галя! – раздался у Гали за спиной голос матери Прасковьи Игнатьевны.

– Мама! – выкрикнула Галя так, словно только и ждала, где набраться сил. – Мама.

– Доченька, – отвечала Прасковья и рыдала навзрыд.

Галя бросилась в объятия состарившейся матери, и обе рыдали, и страх и горе уже казались не такими огромными, нет, горе не прошло, но уже казалось, что теперь с горем можно было справиться, потому что не в одиночку, потому что всем вместе.

– Приехала!

– Приехала, мама.

– Ну, пошли, пошли, ждет он тебя там. Сколько лет не была. Там лежит, дожидается. Все пришли. Валя пришла. Бабы там. Лида Савельева приехала. Помнишь тетку Лиду то?

– И Вера приехала?

– Да где ж там, и в праздники не жаловала, гляди, чтобы на похороны приехала. Но там кто ж его знает, говорят, Мишка их умер. А никто ни сном, ни духом, ни соседи, ни родня. Свидятся там все уж, нескучно, когда вместе. А все ж могла и приехать, никак крестный, не чужой ей был наш Гаврила Прокопьевич. Ну, главное, что ты приехала.

И мать вдруг снова заголосила и крепко держала дочь за руку, боясь, что дочка снова пропадет на много лет.

Прасковья Игнатьевна вела Галю к гробу отца, и можно было подумать, что была не в себе, потому что говорила вроде бы на мелкие и неуместные до горя темы, но в то же время такие спасительные, что значимость их было не переоценить.

– Фарша накрутили, котлеты будем делать, – говорила Прасковья, и когда думала, что нужно сделать, слезы на минуту-другую высыхали. Все, как отец любил. И ватрушки. Вот бы еще холодца, да ведь лето-жара. Он ведь, ты помнишь, как холодец любил. Боюсь, теперь заругает. Все переживаю. Ты как, дочка, думаешь, простит. За холодец то. А?

Галя не знала, как сказать, что ответить, чтобы не расстраивать мать, и целовала ее в щеки, соленные от слез.

– Вот и я думаю, что простит, – успокаивалась Прасковья. Он у нас незлобивый.

Прасковья привела Галю в дом.

Посреди комнаты на трех табуретках стоял гроб с Гавриилом Прокопьевичем. Красивый, в костюме, Гаврила был, словно живой, как будто сейчас встанет, и все как не бывало, от чего было как будто еще страшней. По обеим сторонам гроба с покойником сидели жен-

щины с платками и опухшими, красными от слез глазами. Была здесь и Проскурина, словно и не стареющая, такая статная и дородная, и только мохеровый белый платок на плечах не пощадило время, и подъела моль. Зина, напротив, от печалей, горя из красавицы совсем превратилась в старуху. Уткнувшись в платочек, она привычно смачивала его слезами, за много лет она вовсе не видела радости, жизнь ей казалась сплошным несчастьем, и стоило только о чем-нибудь подумать, как слезы сами проступали на глазах. Последние годы, после того, как Ирину положили в больницу для душевнобольных, а Леонтий не выдержал и скоро, как забрали дочку, умер, Зина только и делала, что ходила по домам, куда постучались горе с несчастьем, и старалась помочь, чем могла.

Горела лампадка, большое зеркало над столом было завешано покрывалом. Женщины всхлипывали, и если вот так, со свежего воздуха, летом печаль так начинала крутить, что лето за окном становилось все равно, что мираж. И тогда беги, не беги, а вот этот гроб, эти табуретки, опухшие, красные от слез, женские глаза долго не выходят из головы, и лето кажется не летом и счастье не счастьем.

Прасковья стала гладить по голове покойного мужа.

– Вот, Гаврила, дочь твоя к тебе приехала, а ты. Что же ты! Ну, прости, прости, – и Прасковья целовала холодные закрытые глаза Гаврилы Прокопьевича.

Гале хотелось вот как мать поцеловать отца, но страх останавливал. Но чем дольше потом сидели над гробом, тем страха становилось меньше, и вот его совсем не оставалось, и только горечь и боль.

Говорили тихо, перешептываясь, спать не ложились, и каждая минута, приближавшая похороны, когда Гаврилу повезут на деревенское кладбище и навсегда укроют в могилу, резала сердце. К утру Прасковья была сама не своя. Собирались люди. Покойнику было под семьдесят, и пришедшие в основном были уже немолодые, пожившие люди, старики и старухи, что не год они собирались на похороны и на поминки старинных друзей и знакомых, и каждый новый раз, все более явно и бесповоротно говорили, что жизнь приближалась к концу.

Стояли, почти молча, повесив головы, и если заговаривали, все больше о коварстве смерти, что вот, мол, сегодня живет человек, а завтра на кладбище везут. И хотелось жить может во сто крат сильнее, когда были молодыми.

Накануне прошел сильный дождь, и дорогу размыло. Грязь была такая, что вместо запланированного автобуса приехал трактор с прицепом.

Гроб с покойником, крест и крышку от гроба подняли и поставили в прицеп. Женщины сами не могли забраться на прицеп и их подсаживали мужики.

Прасковья качала головой, и чем ближе приближались к кладбищу, она становилась беспокойней, начинала сильнее рыдать и обращаться к покойному мужу.

Трактор вез, не спеша, и аккуратно, вслед за прицепом шло с десятков стариков и старух, что водили дружбу с покойником, и чувствовали, что могут пройти по грязи два с лишним километра. Неуверенные, совсем уже дряхлые оставались во дворе и доме Столовых, не расходились и ждали, когда будут поминки.

Всего отчаяний было, когда приготовились забивать крышку гроба. Сорвав черную косынку, Прасковья бросилась к гробу.

– Гаврилушка, – стонала Прасковья и от слез почти не видела вокруг и, как раненая птица с распахнутыми крыльями, закрывала руками Гаврилу.

Мужики с молотком и гвоздями в руках, повесив головы, молча смотрели под ноги.

Проскурина с Савельевой Лидой, крепкой, сильной женщиной, отнимали Прасковью от гроба.

Мужики брали крышку гроба и, не произнося ни слова, быстро и намертво прибивали гвоздями.

Галя стояла в сторонке и каждый раз вздрагивала, когда молоток стучал по шляпке гвоздя и потом, когда в последний раз ударялся об крышку гроба.

Заколотенный гроб на веревке опустили в могилу и ждали, пока каждый бросит горсть земли.

Галя долго стояла над краем могилы и сжимала в руках рассыпчатую твердую землю, похожую отчего-то на горох, так она ударялась и скатывалась с крышки гроба.

Галя последней разжала руку, комочки твердой коричневой земли застучали по крышке гроба. Савельева Лидия Владимировна взяла Галю под руку и отвела от могилы и по дороге домой не отпускала.

Это была красивая сибирячка, выглядевшая на десять лет моложе своих пятидесяти семи лет. Характер ее был такой же непростой и крутой, как берега величественного сурового Енисея. Другая на ее месте давно уже упала бы, но только не Савельева. Вся воля и могучая сила бескрайних сибирских просторов разливалась и билась в сердце Савельевой. Судьба билась в нее, не щадя, словно самого заклятого врага, и плевалась и злилась, потому что, чтобы она не выдумывала, какие бы несчастья не слала бы на голову Лиде, эта женщина все равно, что великие сибирские реки не знают, что такое покорность, не склонилась перед судьбой. И навстречу камням и ветру всегда ступала с расправленной грудью.

На Дону Лида оказалась по воли сердца, когда наперекор судьбы, послушавшись всех до последнего члена своей большой семьи, вышла замуж за молоденького авиатехника Мишу Ветеркова, завербовавшегося на север, как говорили, в погоне за длинным рублем.

– Не наш он! – говорила мать Лиды и не пускала.

– Ну что же, мама, делать, если люблю! – отвечала Лида и плакала вместе на пару с матерью

– Любишь!

– Люблю, мама, сил нет, как люблю!

– Не можешь без него, значит.

– Не могу, мама, режьте меня, что хотите, делайте, а больше ни за кого не пойду. Он у меня один свет в окошке. Не пустите, так знайте, сбегу.

И потом еще сама удивлялась, в кого это ее Вера такая настырная.

Когда провожали Лиду на родину мужа, нашептывали, если уж что, чтобы приезжала, что ей там одной в чужой стороне. И как в воду глядели, с двумя детьми на руках Лида осталась одна. Сколько не упрашивали мать с отцом, сколько не приезжали родные братья и сестры, Лида на родину не вернулась, взяла обратно девичью фамилию, поменяла фамилию детям, окончила техникум и всю жизнь только и делала, что упорствовала и билась с судьбою за счастье.

Ветерковы жили через дом от Столовых. Миша привез Лиду в родную деревню тридцать семь лет назад, в Мечетке родился их первый с Лидой ребенок, девочка, которую назвали Верой, и которую крестил Гаврила Прокопьевич. Молодая семья Ветерковых прожила в Мечетке немного больше двух лет и снова была увлечена куда-то на край света Михаилом. Всю жизнь Михаилу не сиделось на одном месте, и, наверное, было трудно отыскать место на карте советского союза, где он не работал бы. Когда родился второй ребенок, вступили в кооператив в молодом растущем Аксае. Получили трех комнатную квартиру. Но как моряк не может долго выдержать без моря, Михаил не мог прожить без новых впечатлений. Он был неутомимый, как южный ветер, и всего всегда ему было мало, мало денег, мало одной женщины и мало одной жизни, и он все свое время, отведенное ему Богом, положил, чтобы за раз прожить десять жизней сразу, и умер у черта на куличках в объятьях чужой женщины. Если кто в праве был его судить, так это только Лида. Не знаю, удалось ли Михаилу прожить несколько жизней за одну, но что он все делал, чтобы осуществлять свою мечту, было наверняка. Он умер, смеясь над судьбой. И поэтому, наверное, они с Лидой были

настолько разные, насколько и похожи. Что гвозди делать из таких вот людей, как раз было про них.

Лидия Владимировна так никогда и не простила Михаила и не поехала его хоронить. Почему тогда приехала на похороны Гаврила Прокопьевича, где все, каждый дом, каждая улица напоминала о двух годах, прожитых с тем, кто ее предал и оставил с детьми на руках? Никому Лида про это не рассказывала. Но у кого было сердце, те и не спрашивали, потому что и без дурных пустых разговоров чутким бабам, знавшим Лиду, было видно, как она трепетала, когда память возвращала ее на тридцать семь лет назад. В те самые два года, что прошли в Мечетке, которые так и не смогла вытравить из сердца никакая обида.

X

Галя стала жить с матерью. Прасковье было тяжело видеть, что стало с ее единственным ребенком. И Прасковье казалось, что из каждого угла на нее смотрит Гаврила и корит, что она его когда-то не переубедила, и дала свое согласие на свадьбу дочери. В памяти Прасковьи все эти годы жила та семнадцатилетняя Галя, что была ласкова, и когда была дома, не отходила от матери ни на шаг, и как бы ее не обижали деревенские, не сторонившаяся улицы. Теперь же казалось матери, что ее Галя стала все равно, как монах, который отрекается от всего мира и наглухо запечатывается в своей келье. Так и Галя закрыла когда-то свое сердце на замок, а ключ потеряла.

Не улыбнется, не шелохнется без уважительного повода, все равно, как солдат во время команды «ровняйся». И только что-нибудь делать, чтобы занять мысли и сердце, и без смеха, без огонька, как оно бывало раньше, а все больше, как автомат. Так как вроде бы хлопоты по хозяйству – ее главный смысл жизни, и больше ничего у нее в жизни нет.

Мать не находила себе места, и что ни ночь, приходил во сне к Прасковье покойный муж Гаврила Прокопьевич.

Сидит Гаврила за столом, весь такой пасмурный, в черном костюме, и грустно смотрит, как его Галя за хлопотами по хозяйству света белого не видит, как любовь и счастье прошли стороной, и так беспокойно и стыдно старику, потому что он считает, что отчасти повинен, что не сложилась жизнь дочери. Но еще страшней, что он умер и поделаться уж больше ничего не может, чтобы хоть на миг сделать дочку счастливой, и только теперь одна надежда на жену.

Проснется Прасковья, представит, как, может, он, ее Гаврила Прокопьевич, на том свете мучается, и уж больше не уснуть. И только об одном мысли, как ей сердце дочери открыть, как заставить ее оглянуться, увидеть, что, вон, на улице лето и соловьи поют, чтобы она бросила свою тряпку да пошла, погуляла, да хоть поговорила с ней, да хоть что-нибудь.

Уезжая, Лида Савельева оставила адрес своей дочери Веры. Просила писать в надежде, что, может, ее неугомонная дочка образумится. Просто звала к себе в гости. Замуж она так и не вышла, работала продавцом на рынке. С ней жил внук, старший сын Веры, да и сама дочь иногда заглядывала. Средства и место принимать гостей были, только приезжайте.

И с каждым новым днем, проведенным с дочерью, Прасковья все больше и больше думала о приглашении Лиды, об адресе Веры. Как в детстве, когда Вера приезжала к бабкам на каникулы, была с ее Галей не разлей вода. Какая Вера бедовая, какая затейница, и если уж взяла бы в оборот ее Галку, гляди, и распечаталось бы сердце, ожила бы ее Галочка.

И мать решила, что снова в дом мужа дочку не пустит и отправит к Вере.

«Как потом на том свете она будет смотреть Гавриле в глаза? – спрашивала себя Прасковья. – Если ничего не сделает для их дочери, когда могла. Не понравится, не захочет, пусть возвращается, что хочет, пусть делает, но с начала пусть съездит».

Казалось матери от отчаянья, что так сам ее Гаврила Прокопьевич просит, и для этого приходит во сне. И так Галя оказалась в Аксае у своей подруги детства Веры Савельевой.

XI

Приученная вставать в семье мужа с рассветом, Галя проснулась раньше всех, пришла в комнату, где спал Ткаченко, и тихо, боясь дышать, долгие часы сидела в ногах сопевшего, не спешившего просыпаться, мужчины.

Сначала Галя боялась ехать к Вере, боялась за сыновей, которые последние три года не замечали мать в упор. Боялась мужа, хоть никогда он с ней за двадцать лет так и не обмолвился словом. Боялась, потому что Галя отчего-то считала, что мужа надо бояться. Боялась Бога, что он теперь ее накажет за то, что не вернулась к мужу, и отправилась за «тридевять земель». Всего прежде боялась сердечная Галя. Но, совсем немного пробыв в одном доме с матерью, и, вспомнив, что такое материнское тепло и забота, вдруг, что ли даже осмелела. На мгновение подумалось несчастной Гале, что можно любить, что ей только тридцать семь лет, да чего только может не подумать женщина, если ей на сердце пролить капельку тепла, а если такое сердце, что толком тепла и не знало, кроме родительской ласки. Все равно, что алкоголь для непьющего, как говорится, и одного запаха хватит, чтобы вскружить голову и отправить на приключения. Так и с сердцем Гали. И вот она собралась и поехала, но только, как поезд дрогнул, и перрон с матерью стал исчезать, Галя затряслась от ужаса, и все те страхи, что прежде все равно, как веревки связывали ее по рукам и ногам, с новой силой врезались в сердце. Свобода так нежданно, без какой либо подготовки и предупреждения, свалившаяся Гале на сердце, стала давить Галю, все равно, как тот пресс. Да такой степени, что она вжала плечи и боялась поднять головы. И если в тот момент ее кто взял бы за руку и повел хоть на смерть, она подчинилась бы и пошла, как пошел бы потерявшийся маленький ребенок, протяни ему руку даже страшное бесчувственное чудовище, лишь бы только не остаться одному. Вот так и Галя прибилась сердцем к первому встречному. Если на месте Ткаченко оказался бы другой, Галя полюбила бы другого, ничего не прося взамен, и только, может быть, тихо плакала, натываясь на равнодушие. Потому что как бы там ни было, у Гали билось женское сердце в груди, которое, если полюбит, хоть топчи его, будет слепо тянуться к поругавшим его ногам, продолжая до последнего надеяться и любить. Поэтому Галя не уходила, притом, что уже почувствовала, что ее не любят, но продолжала с какой-то собачьей преданностью смотреть не на ухоженного Ткаченко, все равно, как если бы он признался ей в любви. И вдыхала резкий запах немытого мужского тела, казавшийся ей теперь теплым и родным.

В доме Савельевой удобств не было. Купались в тазу, обливаясь из ковша. Летом, как многие станичники, ходили с мочалками и мылом на Дон. Старая общественная баня, что была над железной дорогой, окончательно захирела и пошла по швам и, как разбитая лодка, перевернутая вверх дном, доживает свой век на берегу, заколоченная, гнила в сотне шагах от пляжа.

Ткаченко открыл глаза. Увидел в своих грязных немытых ногах Галю с выражением влюбленной дуры, и ему, стареющему, с впалой грудью и глубокими залысинами, польстила любовь и материнская забота, пусть и некрасивой, но все же женщины.

– Воды принеси, – попросил Ткаченко и, опустив ноги на голый пол, сел на постель.

Галя ушла. Ткаченко встал, надел штаны, серую несвежую майку.

Савельева всегда просыпалась долго. Вставала, снова ложилась и тогда смотрела, как подруга ходит за водой для Ткаченко.

Ткаченко выпил кружку воды и попросил еще. Галя пошла снова.

– Возьми ковшик, а то он тебя так замучает, – сказала Савельева, не вставая с постели.

Гражданский муж Савельевой Ковалев проснулся и курил на дворе.

Кусочек земли, принадлежавший Савельевой, самый первый дворик в переулке Южный. С почерневшим сараем, виноградной лозой, затенявшей дворовую каменную дорожку, живой зеленой крышей из виноградного листа, со старым, черным от времени, абрикосом и высоченным раскидистым тутовником. Оставшаяся земля с вереницей сараев и фруктовыми деревьями, одиноко растущими вдалеке друг от друга, была поделена между соседями Савельевой, такими же, как и она, полноправными хозяевами двухэтажного дома. На первом этаже соседкой Савельевой была старая вдова, парикмахерша, грузная, семидесятилетняя, своенравная казачка, больная ногами, пугающая родную племянницу отписать свою часть дома тому, кто будет ее досматривать. Тем и козырявшей перед своей племянницей, с которой вечно была на ножах. Племянница жила с теткой по соседству на одной улице и тоже, как тетка, стригла на дому. Родственницы недолго любили друг друга и в последнее время ссорились из-за клиентов. Прежде у бабы Клавы было много старых клиентов, помнившие ее по многолетней работе в станичной парикмахерской. Казалось, что до последнего вздоха старая казачка будет принимать клиентов и с машинкой в руках ходить вокруг них, сидящих на стуле. Старая парикмахерша уже плохо видела и все чаще во время стрижки садилась на табурет, чтобы дать отдохнуть гудящим ногам. И скоро большинство прежде верных клиентов, все чаще оставаясь недовольными, стали ходить стричься к племяннице бабы Клавы в дом напротив, тем самым окончательно испортив и без того непростые отношения между теткой и племянницей.

Парикмахерша вышла на улицу. Дальше двора она уже давно не ходила и много раз за день могла посылать соседку Савельеву в магазин. Она носила байковые яркие халаты и комнатные тапочки. В холода надевала толстые шерстяные носки, в теплое время не признавая ни чулок, ни носков, и ходила в тапках на босу ногу.

– Вера проснулась? – спросила баба Клава у Ковалева.

– Встает.

– Пусть зайдет.

– Не знаю, к ней подруга приехала. Некогда, – отвечал Ковалев, зная, что на старуху можно убить пол дня, зайдя на пять минут.

– Ты скажи, пусть зайдет, – нетерпеливо сказала парикмахерша, раздражаясь. Ни тебе решать! Пусть зайдет. И подругу пусть возьмет, раз приехала.

Ковалев выкинул окурок и зашел в дом.

– Иди, баба Клава зовет, – сказал Ковалев Савельевой. Я ей про Галю сказал. Сказала, чтобы с ней приходила.

Ткаченко смотрел на Галю в халате Савельевой. Ему нравилась Савельева, и стало противно, что некрасивая Галя в ее вещах.

– У тебя денег сколько? – спросил Ткаченко.

– Не знаю, ответила Галя. Мама давала.

Ткаченко усмехнулся.

– Показать? – спросила Галя но, догадавшись по выражению Ткаченко, что говорит что-то не то, испугалась, но сообразила, что нужно принести.

Галя пошла к своему узлу и покорно принесла все деньги, что у нее были.

– Давай все, – холодно сказал Ткаченко, взял деньги и молча ушел.

Ткаченко показал деньги Ковалеву.

– Пошли, пока Верка не встала, – сказал Ткаченко и стал обуваться.

И собравшись, они тихо и быстро пошли со двора.

Кода Савельева встала, их уже не было.

– Ну, я им устрою, – говорила Савельева. – Сейчас бутылку купят и опять на работу не пойдут. – Галя, ты зачем им деньги дала? – спросила Савельева, входя к подруге в комнату.

Галя стояла у окна и всхлипывала.

– Да ты что, – испугалась Савельева, – из-за денег?!

И подошла к подруге.

Галя обернулась и от горечи, нахлынувшей в сердце, упала Савельевой головой на плечо, как на подушку, и разрыдалась.

– Да ты что, что ты, Галочка, – успокаивала Савельева рыдающую подругу и гладила по русым волосам.

– Не любит он меня! Не любит.

Савельева не знала, что сказать, и как это бывает, тоже разрыдалась, но скоро стала приходить в себя.

– Куда он денется?! Кому он нужен?! Не любит! – приходила в себя бойкая с детства Савельева, впитывающая в себя ароматы донских трав, обдуваемая ветрами и закаленная Доном, с бурлящим коктейлем в крови из сибирской стойкости и удали донских казаков.

Вера с силой встряхнула Галя за плечи.

– Ты, Галя, казачка. Казачка! А кто он? Кто?

– Кто? – робко спрашивала заплаканная Галя.

– Мужик. А ты казачка! Он на тебя должен богу молиться за твои то слезы. Вот придет, и спросишь, где был? Пьяный придет, по морде тряпкой ему. А не придут, сами пойдем и за патлы притянем.

– У меня не получится. Не могу я так, не приучена.

– Научишься. Я научу. Успокаивайся, казачка. Пошли умываться. На Дон пойдем. Гулять будем. Я тебя с соседкой познакомлю. Изменилась ты. Ну, ничего, воля, она лечит. Никуда он от нас не денется. Успокаивайся, кому говорят. Ну, все, все, вытирай слезы, к соседке пойдем. Надо зайти, а то обидится.

Соседка казачка, парикмахерша подробно расспрашивала, как Галя жила у мужа. За что ее держали, о порядках и обычаях иноверцев. Слушала и стучала кулаком по столу. Как-то сразу она накинута на подругу Савельевой, как это бывает у стариков, когда они встречают новые, прежде незнакомые лица.

– Правильно сделала, что ушла, – говорила баба Клава. Нечего кровь пить. Ишь, в моду взяли. Нет на них казаков. Вот станешь меня досматривать, я тебе дом отпишу. Будет угол на старости лет. Ты кушай, кушай. Они тебя там, поди, и не кормили? Сало бери. Копченое. Поди, ты и вкус его забыла? Вера, водки принеси. Там на антресоли. Они водку не пьют?

– Муж не пил, а тесть иногда, но только, как от простуды, – тихо отвечала Галя, робко кушая за накрытым на кухне столом, но что и от простуды бабе Клавье было достаточно.

– Пьют! Так я и знала, – закричала баба Клава. Небось, и по нашему ругаются?

– Я не слышала. Не принято у них. Они все молча.

– Ну, ты посмотри. О, заразы говорить тебе, говоришь, не давали! И в церковь нашу не ходят. Не пускали они тебя в церковь? Не пускали?

– Я сама не ходила. Отвыкла.

– Конечно, отвыкла. Я с ними пожила бы, сама перестала бы ходить.

Савельева принесла водку.

– Вера, Галя у меня станет жить. Я старая, а тебя вечно не дозовешься. И нечего ей там у тебя. Развела проходной двор. А ей, какой-никакой угол останется.

– Да у нее там, как будто любовь, – рассмеялась Савельева.

– Что! Уже успели. О, сучки.

– Да. И плакали сегодня на пару.

Баба Клава стукнула ладонью об стол.

– Это ты, Верка, виновата. Драть тебя надо. Срам развела.

– Да не говорите, баба Клава. Перевелись казачки. Пока найдешь такого, кто остудит.

Соседки рассмеялись, и Галя смеялась. Как цветок, занесенный в дом с мороза, оттаивает и распускается, сердце Гали, согреваясь от родной речи и заботы, начинало биться совсем по иному, многое, что прежде казалось непозволительным, теперь постепенно начинало восприниматься согревшимся сердцем не таким уж страшным. Даже тот же смех. Не боясь, что на нее бросят косой взгляд, что ее осудят, Галя за многие годы впервые открыто смеялась. И начинала казаться не такой уж рябой и некрасивой.

– А что ревели?

– А что бабы режут. Не любит.

– Это кто же такой?

– Да Костя.

– Кто! Кацап этот. И нашли, по ком реветь.

– И я ей о том же.

– Вот Степан, внук Прокопа Орлова, казак. Петр Озеров, племянник Игната, казак.

– Ну, баба Клава, тоже скажете. У Степана трое детей. А Озерова арканом на кровать не затянешь.

– О, сучка, – смеялась баба Клава. Наливайте, бабоньки. Правда, что ли, любишь?

– Люблю, – тихо отвечала Галя, застенчиво улыбаясь, как девушка.

– Ну, люби, казачка, раз любитесь. Любить не грех! Ну что ты, Вера, наливай, а то, я смотрю, не сидится вам с бабкой!

– Да сидится, баба Клава, сидится. Так бы и сидели целый день. Да дела проклятые, – оправдывалась Савельева, что скоро собирались оставить парикмахершу и зашли ненадолго.

– Да что ты брешешь, курва! Дела у нее. Знаем мы ваши дела, сейчас, как сучки, побегите кобелей своих искать.

– За бутылкой они пошли, опять на работу не пойдут.

– Да гони ты их к чертовой матери.

– Ну не знаю, баба Клава, мал золотник да дорог.

– Да уж точно, что мал.

– Да я бы не сказала, – рассмеялась Савельева.

– Ну, сучка, – смеялась баба Клава.

А Савельева посмеялась, и словно споткнувшись на чем-то, о чем с годами все больше и больше болело у бабы сердце, загрустила.

– А куда он без меня. Пропадет. Жить ему толком и негде. А что пьет. Ну, кто не пьет?! А все же он неплохой. Все до копейки в дом несет. И вот сейчас он там пьет. Вроде бы пусть, проклятый, захлебнется! А нет, баба Клава, жалко. Что они, наши мужики, от хорошей жизни пьют? Нет. Не устроился, как следует, не закрепился в жизни до сорока лет, и смысл теряется этой самой жизни. И пьют и пьют. Одна отдушина. И вот мы с ним то сходимся, то расходимся, уже как семь лет в следующем году будет. А у него, вон, дети от первого брака и у меня двое сыновей по бабкам. И что бы мы не жили в своих семьях с настоящими мужьями и женами? Да жили. Да не сложилось. Или мы, дураки, не так все складывали. Не вышло узора. И никому мы теперь не нужны. Лет то сколько? Вот помыкаемся, помыкаемся и вместе. А наливай, баба Клава, а то сейчас расплачусь.

Бабы, чокнувшись, тихо выпили, думая каждый о своем, пытаясь разглядеть счастье на дне рюмочки, счастье, которого и там, к горю общему, нет, сколько бы туда ни заглядывать.

– Идите, бабы, – отпускала баба Клава. – Но смотрите, дешево себя не продавайте. Мимо, мол, шли. А то хвосты распустят. Петухи пьяные. За гребешки их и домой. Да увидите Райку, передайте, что баба Клава сказала, что все патлы ей вырвет, еще раз увидит. Вчера тебя, Вера, не было, приходит. Где, говорит: Верка. А я рыбу жарить собралась. Говорю: а я почем знаю, на Дону или у Лизки. Говорит: понятно. Ну, черт с тобой, думаю. А у меня масла

ни капельки. Кончилось. Говорю: сходи в магазин, купи масла. Говорит: давайте. И что вы, бабы, думаете?! До сих пор, курва, несет!

– Ну, теперь, значит, надолго, – махнула Савельева рукой. Она, вон, и в магазине в долг нагребла и с концами. Мать теперь расплачивайся. Теперь зимой явится с первым морозом. Ни раньше.

– О, курва! Ну, ничего я умирать не собираюсь.

– Ну, мы пошли. А то сильно напьются. Тащи их потом, надрывайся.

– Идите, придете, расскажете. Да это, к моей зайдите. Что там у нее клиенты есть. Стрижет, курва. Надоумила на свою голову. Вот ей богу, отпишу дом тебе, Верка.

– Так вы же Гале обещали.

– Да все равно, кому. Только не этой. Вон, пусть стрижет, как я всю жизнь стригла! Чтобы потом на старости лет с одними ножницами остаться. Она что, курва, думает?! Всегда молодой будет! Я тоже думала, да, вон, уже еле ноги по двору волоку.

– Мы пошли, баба Клава.

– Да идите. Идите, сучки, кобелям хвосты крутить, – стукнула баба Клава по столу кулаком, начиная заводиться и выходить из себя. Ударила так, что тарелки подпрыгнули, и только чудом вся посуда не полетела со стола. Кулак у старой казачки и в семьдесят лет был на зависть крепкий. Савельева это знала и поспешила уйти и увести с собой подругу. К племяннице бабы Клавы Савельева не пошла, недолгобливала Вера родственницу парикмахерши. Если с кем и знакомить Галю, это с Лизой решила Савельева и повела подругу к известной станичной сиротке.

XII

Дом Лизаветы Федоровны Синичкиной на улице Пушкина, большой, на пять комнат, с железными воротами, с чердаком и погребом, стоял в тупике на возвышении над стекольным заводом. Во все часы суток здесь было необычайно спокойно и тихо. Даже невзирая на то, что железная дорога была под боком.

С высоты казалось, что поезда проносятся где-то далеко, и стук стальных колес, крадущий на время слух – лишь только отголосок грохочущей цивилизации, миг, после которого снова погружаешься в мир гармонии и покоя.

Все вокруг большого дома Лизы жило и дышало заботой и теплотой сиротки. Благоухали цветы, в кормушке для птиц воробьи весело спорили за крошки хлеба. Ласточки мелькали как стрелы. И никто никогда здесь не запустил бы в птицу камня, никто никогда здесь не растоптал бы цветка, никто никого не обидел бы и всеми силами тянулся бы помочь, окажись вы в беде. Но были ли здесь вообще эти беды?! Не знаю! Бывало, что и в рай стучались неприятности. Конечно, дом Лизы не был раем, но лично я не отказался бы, чтобы в раю было, как было в доме у Лизы.

От Савельевой до дома Лизаветы было метров семьсот, ни больше. В молодые годы Николай Карлович Пономарев за пять минут добежал бы до места с мешком сахара на плечах. Проработав всю жизнь грузчиком на консервном заводе, он переволочил сто тысяч мешков сахара и еще бог знает чего, а теперь еле справлялся со своим богатырским телом. И если что только напоминало о прежнем олимпийском здоровье, так это медвежья хватка в руках.

Фирменное рукопожатие Пономарева, когда коченели и хрустели пальцы, всем местным мужикам было хорошо известно, так как много раз было испробовано на себе. И знакомые мужики, здороваясь с Пономаревым, говорили: «Ну, ты, полегче, полегче» И только гости с местных улиц доставляли радость старику. «А ну-ка, руку, руку дай», – говорил Коля какому-нибудь мужику или парню, который по случаю или по делу в первый раз забрел на их край. И какой бы не был крепкий, налитый силой и молодостью гость, он вскрикивал, белел от боли и от хруста собственных пальцев. Старик, победоносно улыбнувшись, преставал давить, бросал руку и довольный шел дальше по своим делам, ввергая гостя в шок. И попавшийся на удочку еще долго потом с изумлением смотрел вслед старику, с трудом передвигавшему ноги.

Это был честный добрый старик, но, может, как все сильные люди не спешивший бросаться вам в объятья, но будьте уверены, если бы с вами случилась беда, его не нужно было бы просить прийти на помощь. Знаете, так со всеми русскими богатырями: если какая-то там мелочь, он будет улыбаться свысока, вроде бы даже посмеиваться, что вот из-за какой-то ерунды шум поднимают, но если, в самом деле, беда, то уж богатырю не до смеха. Нахмурит брови русский богатырь, сожмет кулаки, умрет, но поможет. Ведь что русскому смерть – лишь только еще одна проверка на прочность.

Коля ковылял к Лизе. Идти ему было тяжело, он останавливался, чтобы перевести дух. Шел, горбатясь, вроде нес на плечах мешок. Но окажись дом Лизы не так близко, будьте уверены, Коля все равно дошел бы. Знаете, когда в жизни не так много мест, где тебя принимают как родного, и не такое можно преодолеть. Порою готов все отдать взамен, чтобы оказаться там, где тебя по-настоящему любят, и неважно пьяный ты или трезвый, богат или нищий. Все отдашь, и будьте уверены, не прогадаешь, потому что с улыбками и любовью приобретешь то, что будет подороже, чем все золото мира. Ведь что золото, если тебя никто не ждет и никто по-настоящему не любит?!

Тяжело дыша, Коля ввалился в дом Лизаветы.

– Лизка, Лизка, – вопил Коля, как на пожаре.

Лизавета уже собиралась ложиться спать и в ночной сорочке босиком выбежала навстречу старику. Со светлым молодым лицом и волосами, черными как смола, она носила прическу каре, закрывающую весь девичий белый лоб чуть ли не до бровей, и от этого казалась, что Лизонька была в черном платке, знаете, как молоденькая послушница в божьем месте при монастыре.

– Гонятся за мной, – кричал Коля, пугая Лизавету. Спрячь ради Христа. Дочь доберется, пропаду!

Лизавета облегченно вздохнула и успокоилась. Ничего страшного не случилось. Дочь Пономарева, если его послушать, только и делала, что с утра до вечера гонялась за отцом с дубиною на перевес. Ругала, запирала в кухню. Наяву же, как это часто бывает, не давала отцу пить и поэтому была неизменной героиней стариковских страшилок.

– И не стыдно вам, Николай Карлович?! Сироту пугать, на дочь наговаривать, – сказала Лизавета, зная, что ее одну из немногих в станице только и стыдились за чистоту и целомудрие. И в особенности Пономарев, который как тот расхोлившийся отец вдруг видя перед собой разбуженную им младшую любимую дочь, засовестится, падает на колени и просит прощения, всегда притихал, опускал глаза, принимая укоры Лизаветы как должное.

Совестью станицы звали мужики сиротку Лизавету, и если надо было решить по справедливости, гурьбой шли в ее дом. В нем, словно в монастыре, редко когда запирались двери, и всегда были рады гостям, которых готовы были выслушать и помочь, если только смогут. И так искренне, по – сердечному, что никогда мужикам не было обидно. И порой мужики просто шли в дом Лизаветы, чтобы отвести душу, погреться об ее сердечность, как об тепло.

Какая-то светлая и чистая красота жила в сердце двадцати семилетней девушки и, благодатью разливаясь по сердцу, отражалась на ее поступках и делах. И от доброты и отзывчивости, на которые было так щедро ее сердце, лицо Лизаветы казалось светлей, чем может быть, оно было на самом деле от природы. И когда она была задумчива, казалось, что каждая пора на ее лице словно дышала чистым утренним светом. В станице ее считали красавицей, и она была наделена непростой необыкновенной красотой, но не такой, за которой волочится стар и млад, а такой, мимо которой пройдешь, на сердце станет светлей и сам того не заметишь, как улыбнешься.

Лиза любила наряжаться в длинные платья и ходить со своей знакомой Савельевой в церковь. Лиза верила, что если ругающихся, проклинающих друг друга на улице людей взять за руку и привести в церковь, им станет стыдно. И наблюдая за знакомыми прихожанами, не ладившими друг с другом за пределами храма, готовыми оплевать, разорвать друг друга, она радовалась, когда хотя бы на время их злоба ими забывалась, выдворяясь прочь из их душ и сердец от незримого присутствия святого духа. Когда даже самый развязный и склочный станичник, оказавшись под куполом храма, становился тише и скромней. И ненужно было Лизавете иных подтверждений о существовании Бога. Какие еще нужны подтверждения?! Когда случалась то, что прежде было никому не под силу, и становилось каждый раз под силу только Ему под сводами его дома. И от этого общее процветание Лизе виделось над огромным куполом храма, который можно было воздвигнуть над миром только добрыми делами и поступками.

Коля осекся, замолчал, словно встретившись лицом к лицу с преградой, которую не перешагнуть, горой мимо которой не пройти, если хоть капельку в душе теплится совесть. Но и Лизавета как-то изменилась, испугалась в лице. Ей порой было стыдно совестить мужиков. Русский мужик чувствовал, когда был неправ, стыдился, и на душе его могла начаться рожа, и мог он известись захиреть, если не сбросить с сердца камень – не загладить вену.

– Да что же я это! – всплеснула руками Лизавета. Сама и наговариваю. Не испугалась я.

Коля смотрел на Лизу, чистую и светлую, в белой ночной рубашке, и виделся старику ангелочек, парящий в церкви на куполе. И он совестился и просил прощения.

– Прости, Лиза, я не со зла.

– И ты меня прости, – ответила Лизавета и поклонилась старику до земли.

Старик расчувствовался и заплакал, и кланялся в ответ, и до тех пор отказывался сходить с места, пока Лизавета чуть ли не в сотый раз сказала, что простила его и не держит обиды.

Всегда когда Коля после долгого перерыва появлялся на пороге Лизаветы; старик мог оставаться у нее по целому месяцу, а потом снова пропадал на долгие недели, словно родной отец приезжающий погостить к взрослой дочери, выросшей и уехавшей из родного дома в другой далекий край. Родная дочь Коли знала и не была против, твердо уверенная, что старик отец будет накормлен и уложен в чистую постель. И только когда до нее доходили слухи об очередном таком отъезде отца, она собирала продукты и несла Лизе, чтобы кормила старика. Хоть и знала, что Лиза как обычно обидится на нее и, как всегда, будет долго не брать сумки.

По станичным меркам Лиза была богатой. Ее мать, учительница русского и литературы, молодой незамужней девушкой приехала в станицу сразу после института. И одинокий учитель по труду, смотря на молодую новую учительницу, мало верил, что он на половину уже седой, не балованный даже в молодости женским вниманием, казак может заинтересовать, как он говорил молодуху. И потому на первых порах, пока не открылся девичий секрет, молодая учительница казалась учителю по труду слишком благородной для него, неотесанного, всю жизнь возившемуся с деревяшками. И имя для станицы носила не то чтобы королевы, но словно из другого мира – Эльвира. И по первому времени имя новой учительницы передавалось станичникам из уст в уста как какая-то новость, которая совсем уж обезоружила Федора Алексеевича. «Ну, куда мне, как оно говорится, со своим свиным рылом да в Калашников ряд!», – как-то сразу решил Федор Алексеевич и сухо здоровался с новой учительницей русского и литературы, встречаясь в учительской и в коридорах школы. «Нечего рот разевать, не по мне каравай», – говорил себе Федор Алексеевич, всю жизнь придерживаясь правила, что если ты боярин, то и жена твоя должна быть боярыней – белогруда, статна, все одно, что лебедь плывет. Если ты так – саяк, то и бабу тебе толстую и рябую. Сам Федор с семилетним образованием из станичной бедной семьи; неизвестно, что его ждало, если бы не какой-то прямо самородный дар большого искусного мастера, живший в руках молодого парня. За что Федор не брался бы, особенно, что касалось плотницкого дела, выходило у него на загляденье всей станице. Да не просто там ровно да гладко из рук мастера вылетали стулья со столами и прочая мебель, а с фантазией, искусством большого художника. Там ножка на стуле в виде копытца или спинка в виде сокола с расправленными крыльями – и все словно живое дышит теплом сердца мастера. И директор школы, коренной станичник, без какого либо диплома, даже без оконченного полного среднего образования, взял Федора в школу учителем по труду. И когда кто-нибудь спрашивал, как это у вас человек без диплома в школе с детьми, директор отвечал: «А вот вы придите к нам, мастерскую посмотрите. У него там каждый стол, стул, каждая вещь что диплом. Все своими руками и как?! Да вы знаете, что ни в одной школе района нет больше такого. Да что там района! Да ему, может, сам Бог диплом в руки вложил. Побольше таких бы дипломов! И дети его любят. Ребенок ему: „Покажи, как что получается“. А он берет и на их глазах такое просто с одним ножом и поленом вытворяет, что они весь урок, прилипнув к стульям, глаз не сводят. И потом ему проходу не дают. Пробуют, стараются. Что еще надо? И потом, вы меня извините, вы мне, что ли замену дадите?! У меня до Федора пять человек поменялось. А дети?! Вы о детях подумайте!» И на этом все разговоры оканчивались. Любой, даже самый рядовой, не блещущий талантами учитель по труду, как и учитель по физкультуре, в любой школе всегда на вес золота. И если вдруг соберется уходить, за ним еще и ходить и умолять будут остаться. И потом, когда вдруг открылось, что молодая учительница приехала в станицу не одна, а с ребенком под сердцем,

молодые казаки как-то все разом пропали с горизонта Эльвиры; старый директор припомнил, как Федор смотрел поначалу на молоденькую учительницу, оставшуюся теперь совсем одной. Жить молодой приезжей учительнице всегда было толком негде, а теперь и вовсе беременную незамужнюю девку держать в доме особо никто и не хотел. По станице ползли нехорошие слухи. А у Федора пустовал большой дом, который он выстроил на сколоченные от работы у станичников деньги. Кому крышу перекрыть, кому мебель в подарок. Все к Федору. Деньги водились. Родителей он похоронил и жил бобылем в пяти комнатах.

Пускать на квартиру беременную учительницу Федор до последнего не хотел и упирался в кабинете директора, как только мог.

– Завтра вся станица языками трепать станет, – говорил Федор, – ладно старая была б, а то молодуха! Мне и в трусах будет тогда не пройти. Я волю люблю. Один привык.

– Ладно, хватит тебе, – отвечал директор на доводы Федора, – тоже мне причина. Ты вспомни, как ты на нее смотрел, как кот на сметану.

– Смотрел, то смотрел, но только та сметана высоко на столе стоит, старому коту не допрыгнуть!

– Ты старый?! Тебе сорок три.

– А ей двадцать один. Не допрыгнуть!

– Вот мы тебе эту сметану да со стола, да на блюдечке.

– Это что же вы, ее под меня подкладываете?

– Не знал я, Федор, что ты такой дурак, – выходил из себя директор. Я жизнь хочу твою устроить. И кому она теперь нужна. Еще и живота особо не видно, а все как провалились. А то ведь табунами вокруг школы ходили. Мне проходу не давали, что да как? А теперь! Ты не дури.

– Я не дурю! Не надо мне вашей жизни. Так не надо. Это что же получается, она за меня из-за дома должна пойти!? Что жить негде?!

– Ты и вправду, Федор, дурак. Почему ты считаешь, что она со временем не сможет тебя полюбить за заботу, за руки твои? Не потому что ей с ребенком жить негде!

– Да не сможет! Вот она Пушкина детям читает, а я им столярной линейкой по горбу, чтобы чертилкой глаза друг другу не повыкалывали. Разные мы. Так не бывает.

– Ну ты, Федор, и полено!

– А с чем вожусь всю жизнь, то и есть.

– Значит так! Тебя жениться на ней никто не заставит, если сам не захочешь. Ей жить негде. Я тебя как человека прошу. Я за тебя всегда горою стоял и в школу взял, не в упрек будет сказано. Выдели ей комнату. Школа тебе плотить станет.

– Да не надо мне ваших денег. Пусть так живет. А то еще потом скажут, что я с бабы деньги беру, что она со мной спит. Да не смотри на меня! Чай не местный?! Завтра вся станица будет трепаться, что беременную учительницу замуж взял, а она пошла, потому что домой ехать боится. Прибьют. Мне все равно, а вот она как?

– Твое дело устроить. Поболтают да забудут. А девке жить негде. Ребенок родится, я ей комнату выбью. Все легче будет. А пока не родится, пусть поживет.

– Да пусть живет!

– Дурак, еще благодарить будешь.

– Да, буду! Морду тебе по дружбе набью. Не посмотрю, что директор, – сказал Федор и стал уходить.

– Иди, иди с глаз моих долой, – кричал ему вслед директор. – Хоть издали почувствуешь, что такое отец!

Федор решил выделить учительнице самую большую комнату в доме. Занес чемоданы в комнату. Показал, что, где в большом доме.

– Отец хоть кто? – хмуро спросил Федор, смотря на округлившийся живот учительницы.

Эльвира смутилась, но ответила, опустив глаза.

– Мы в параллельных группах учились.

Федор вздохнул; и раньше особо не жалуя Эльвиру, поселив ее у себя в доме, он сразу как-то перестал в ней видеть свою коллегу, был резок и немного даже груб, за что впоследствии всегда себя корил.

– Ну а оно и понятно. С кем же еще? И что за имя у тебя такое! – восклицал Федор, рассматривая с ног до головы учительницу. Эльвира! Родители, небось, тоже профессора?

– Из детдома я. Нас часто подобно называют. Джульетта, Офелия, Анна. Несчастливая любовь.

– Не слышал я, что из детдома. Прости, – смутился Федор.

– Я никому не рассказывала. Приехала и приехала. Куда распределили.

– Понятно! Вот оно как. Мать сирота и ребенок сирота. Отец – Генерал, и сыночек генералом будет. А что же ты думала, когда ноги раскорячивала. А?

Эльвира заплакала и стала брать чемоданы.

– А ну положи, говорю! Ишь, гордячка! О ребенке подумай. О тебе никто никогда не думал, и ты ни о ком не заботишься. Беременной по углам шататься польза небольшая.

И с того дня незаметно для самого Федора его прежняя одинокая холостая жизнь стала его пугать, лишь только хоть на миг он оставался в доме один, когда Эльвира шла в магазин, ездила на прием к доктору. Теперь Федора каждый день ждала женщина и не одна, а с новой зародившейся в ней жизнью. Готовила обеды, волновалась, когда Федор опаздывал, за ужином расспрашивала, как дела в школе. Первые недели они спали в разных комнатах, но однажды Эльвира пришла спать не к себе, а в комнату к Федору.

Рос живот, наливалась грудь – Эльвира сильно полнела. Сама от природы слабая и болезненная, она тяжело переносила беременность, задыхалась и сильно отекала. Как садовник за розой ухаживал и оберегал Федор свою Эльвиру. И с нетерпением ждал, когда родится ребенок. Месяц делал колыбель. И сделал ее необыкновенной, как и все, чего только не касались его руки и сердце. Колыбель была в виде маленькой лодочки из сосны, с веслами по бортам и специальным углублением посередине кормы, чтобы молодая мама ставила туда бутылочку с молоком, если вдруг случится, что болезненная Эльвира рано перестанет кормить грудью. Как будто бы все предусмотрел Федор. Вырезал гору солдатиков и лошадок, если родится мальчик, и смастерил пару необыкновенных кукол, сам сшив им платья из голубого шелка. Даже качели поставил заранее во дворе. Все не мог дожидаться. И в последние дни, когда по срокам должны были начаться роды, пошел брать отгулы, чтобы ни на шаг не отходить от будущей мамы.

– Ну что, что я тебе говорил? – радовался до слез директор, провожая домой учителя по труду. Вот родит, туда дальше в садик пойдете. И чтобы оба у меня как штык на работу.

Счастливый, но в то же время с беспокойством и тревогой на лице, Федор стоял перед директором.

– Ну что ты, что ты печалишься, Федор? Мучишься, что не твое?

– Да где же не мое. Мое. Я вот... – и Федор опустил голову.

– Что? Говори, Федор, не бойся.

– Я вот колыбельку делал и плакал. Все одно, что баба, даже потом стыдно было.

– Да что ты, что ты, Федор. Это хорошо, хорошо, – и у старого директора проступали слезы.

– Страшно мне. По ночам не сплю. Совсем она плохая. В больницу отказалась ложиться. Говорит, с тобой буду, никуда от тебя не уйду. Как так может быть? Вот за что она меня любит? Что ей сделал?

– Да за колыбельку она тебя любит. За слезы твои. Иди с глаз моих долой. Беги к ней! Схватки у Эльвиры начались глубокой ночью и вышли стремительными и болезненными.

– Федор, миленький, не бросай, не бросай меня. Я боюсь одна, – умоляла Эльвира.

– Врача тебе надо, что я могу. Надо бежать звонить. Потерпи, потерпи, Эльвирочка. Здесь недалеко. Я скоро, только за врачом, – отвечал испуганно Федор и торопился.

– А-а-а-а, – начинала кричать Эльвира, и Федор бросал пальто с шапкой и бежал обратно к постели рожавшей женщины.

– Да что я. В больницу надо, – сокрушался Федор.

– Не бросай. Страшно! А-а-а-а, больно! – запрыгнув голову, закатывала глаза Эльвира.

– Потерпи, потерпи, Эльвира.

– А-а-а-а, не могу, больно!

– Сейчас, сейчас! И Федор бежал к бабке соседке и, как сумасшедший, не помня себя, колотил в окно. – Егоровна, Егоровна!

– Да что случилось? – спрашивала Егоровна, семидесятилетняя бабка, в открытую форточку. – Рожает уже что ли?

– Да! Совсем она плохая. Опухла вся.

– Да тебе почем знать?! Ты доктор или когда рожал! – рассмеялась Егоровна. – Никуда не денется. Все рожают, и она родит!

– Я звонить в больницу побежал. А ты скорее, Егоровна. Иди к ней, ради бога, скорей.

– Да иди куда надо. Сейчас пойду, теперь все равно не засну.

Когда Федор вернулся, его встречал звонкий детский плач. Егоровна вышла к нему в коридор с новорожденной, завернутой в большой пуховой платок.

– Казачка! Принимай, отец, – сказала Егоровна и хотела, было, засмеяться, но так и не смогла. Как-то вся смежилась и стала серьезной. – Умерла баба. Крови много вышло, а девка крепкая. На, возьми-ка дочку, отец. Подержи, как оно, – и Егоровна протянула младенца, чтобы брал.

Федор трясущимися руками взял ребеночка – что-то маленькое, пытающееся уже возражать, словно взрослое, и зарыдал над младенцем по-бабьи.

В прошлом году учитель по труду умер, и дочка его Лиза осталась жить одна в большом доме. С первого раза, как Федор взял ее на руки, он все годы не спускал с нее глаз, берег и лелеял как когда-то ее мать. Знал, что когда умрет, больше никому будет заботиться о дочке, и с первого года собирал и откладывал дочке деньги. Подрабатывал, крыл крыши, делал на заказ редкую мебель и после смерти оставил дочери приличные деньги. И теперь, когда приходила дочь Пономарева, Лизе было стыдно. Тоня, рыжая крепкая баба жила с отцом бедно и, тем не менее, носила полные сумки в богатый дом Лизы. Лиза готова была провалиться под землю, и каждый раз пробовала уговорить Тоню забрать продукты обратно. Но было бесполезно, Тоня и слышать ничего не хотела. «Вы опять за свое?! Ну что я, старика не накормлю?! Деньги у меня есть», – говорила Лиза и в ответ слышала, словно заученное Тоней наизусть. «Надо так, – говорила Тоня, выкладывая продукты на стол, – отец пенсию получает. А то люди что скажут?! Деньги старика прикарманиваю! Не унесу, и не уговаривай! Ты, Лиза, лучше ему зеленый борщ свари (зимой Тоня просила варить борщ с квашеной капустой). Если не трудно, свари. Он его только бы и ел».

И Лиза варила борщи. Коля приходил всегда поздно и, если был в состоянии держать ложку, ел свой борщ, рассказывая Лизе новости и станичные сплетни.

А Лиза только год, как, похоронив отца, полная волнения, ждала Колю, и когда он наконец-то приходил и, засыпая, что-то бурчал в своей комнате, Лизе казалось, что отец не умирал. За последние месяцы она сильно привязалась к старику и сама не заметила, как любила, словно родного отца. И вообще, в целом, всю жизнь, пробыв рядом со стареющим

человеком, ежеминутно дарившем ей тепло, Лиза с большим трепетом и любовью относилась к пожилым и старым людям.

С молодыми людьми, напротив, как-то ни с кем особо и не дружила. Пожалуй, самая молодая ее подруга была Савельева, одна бедовая станичница, которой было за сорок. И со временем как-то само собой сверстники станичники забыли, что Лиза еще молода, что ей только двадцать пять лет и считали ее за старую деву и монашку, все свое время тратившую на стариков, и совсем ей не интересовались. Никто к Лизе не сватался и не набивался в женихи, и она так до сих пор ходила не целованная. Пару раз знакомые бабы устраивали богатой Лизе встречу с неженатыми парнями, но молодые люди после стариков с их выстраданными сложными судьбами казались Лизе пустыми, неинтересными, словно чистыми листами, на которых жизнь не успела написать ничего знаменательного. А когда была молоденькой, когда еще был жив отец, Лиза и представить себе не могла, как ради своего счастья можно было оставить старика отца. И так и не вышла замуж. И теперь, как бы ни было светло и красиво в доме, Лизе порою становилось грустно. Но только не в такие минуты, когда на ее пороге наконец-то появлялся долгожданный гость. И когда Коля, наверное, в десятый раз поклонился, а Лиза сказала, что прощает старика и не держит на него обиды, так было хорошо и, наверное, у самого печального грусть сняло бы как рукой.

Лиза усадила Колю за стол, поставила чайник на газовую плиту и стала для долгожданного гостя собирать поздний ужин.

Ел Коля вроде бы в охотку, но все же без азарта, как бывает у человека, весь день не державшего во рту крошки. Не так, как если бы старику к запашистой домашней колбасе да к дымящемуся борщу поставили запотевший стаканчик холодной водки.

– Правда, нет, – оправдывалась Лиза, открывала шкаф и показывала. – Завтра куплю! Ну, чтобы только для аппетита.

Коля фыркал.

– Да кто ж ее, заразу, для здоровья пьет?! Глупости все это.

– Да как же ее надо пить? – улыбалась Лиза.

– А так, пьешь, а сам клянешь себя, на чем свет! Вроде бы как очищаешься. Ведь же грех!

– Ну, если грех, надо тогда бросить! – восклицала Лиза.

Старик вздыхал.

– Да, конечно, надо, но ведь же, зараза, как держит!

– От лукавого, – вздыхала Лиза.

А Коле только это было и надо, ну как любому слабому, чтобы только увидели в его слабости руку нечистого. В такие минуты Колю было не остановить.

– Во-во, от лукавого, все от него, хвостатого. Бывает, поднесешь к губам и думаешь, нет, все – вот сейчас на землю выплесну. Да где там, сатана, сам стакан опрокинет и никакого спасения.

Лизавета печалилась, понимая, что для Коли, как и для большинства, легче изобрести вечный двигатель, чем признать в собственной слабости.

– Ну что вы, Николай Карлович. Совсем не то я имела ввиду, когда говорила, что от лукавого.

– Это как? – удивился Коля.

– А так, что ведь не святой дух же, в самом деле, вот эту нам водку послал?! Сатана, конечно. Но что он вам стаканчик переворачивает, неправда, Николай Карлович, ой, какая неправда. Нет у сатаны такой силы, нет, и никогда не будет! Да и не нужна она ему, потому что человек слаб.

– Да что же тогда, Господь за грехи?

– Что вы такое говорите, – покачала головой Лиза. Как можно Бога в такие дела замешивать! И если по правде, Богу тоже не под силу, даже если и за грехи!

Коля не понял.

– Да как же! Все в воле Божьей и нет ничего такого, чтобы было Богу не под силу.

Лиза приняла строгий вид.

– Под силу гору на камни рассыпать, под силу осушить океан, но не как вы говорите, Николай Карлович, стаканчик вам опрокинуть.

Коля почесал свою лохматую голову:

– Гору разрушить, а стаканчик не под силу? Не понимаю.

– Не Бог, вам, Николай Карлович, стаканчик поднимал, чтобы его опрокидывать. Воля ваша, Николай Карлович, пить или выплеснуть, как и во всем остальном. Сатана поставит перед человеком стаканчик, все одно, как искушал Христа в пустыне да на скале. Все одно. Поставил стаканчик и в сторонку отошел и вместе с Господом смотрит на человека.

– Вместе с Господом! – подивился Коля.

– Вместе с Господом, Николай Карлович, и только вместе. И вот они смотрят, и каждый думает о своем. И что выберет человек, такая ему и награда будет потом. И не будет большей радости и гордости у Бога за его дитя, человека, если вы, Николай Карлович, выплеснете тут проклятую водку и обратитесь к свету. И кивнет тогда Господь самому сатане, и сам сатана улыбнется, потому что как бы он ни желал зла, а вот оно свершилось, благо. И так до судного дня, когда вместо сатаны на землю придут ангелы, чтобы вершить Божий праведный суд.

Лизонька замолчала и как-то склонила головку, словно принимая Божий праведный суд, как бы он ни был суров.

Многое Коля не понял, но в каждом слове Лизы была заключена словно какая-то сила, так они у Лизы лились из сердца, что нельзя было сомневаться, что все до последнего Лизино слова истинная правда, что словно сам Господь как будто вложил их в сердце сиротки.

Всегда после таких разговоров Лиза утомлялась. Могла Лиза не заразиться от несчастного страдающего гриппом. Кашляй он и чихай на Лизу хоть сто раз, но стоило ей переволноваться, она могла целый день пролежать с жаром. Была Лиза слабой нервами. Она знала свою беду, но не могла, чтобы не переживать, чтобы не вступить на улице в разговор, когда слушала, что человек не так понимает и истолковывает слово Божье. Всем и каждому Лиза старалась донести свет. И пусть потом лежать без сил, ну что это по сравнению с тем большим светлым делом, за которое она так ратует, – считала Лиза.

Коля знал, как оно бывает с Лизой, и всегда в таких случаях сильно переживал.

– Ну-ну, все, все, – сказал Коля и ласково по-отечески поцеловал Лизу.

Лиза улыбнулась. Она была бледной, и казалось, что от волнения еле стоит на ногах.

– Совсем я тебя утомил, проклятый старик! – ругал себя Коля.

– Да что вы, что вы, – вспыхнула Лиза. Не говорите так.

Лиза обняла старика.

– Вот и помирились. Помирились, помирились? – спрашивала Лиза.

Коля заплакал. Размазав кулаком слезы и особо не задумываясь, как это бывает у русского человека, вдруг перекрестил Лизу с таким видом, как отец благословляет дочь.

– Ну, все-все, ложиться тебе надо. И мне тоже.

Старик уже скоро уснул, а Лиза еще долго, перед тем как улечься в постель, стояла на коленях перед большой, потемневшей от веков, иконой Николая Чудотворца. Как всегда случалось с ней перед сном и в волнительные минуты жизни.

Когда утром Коля поднялся, Лиза была уже на ногах и пекла для старика блины. Ароматное тепло витало по комнатам и приглашало к столу, и ноги сами собой шагали на кухню, в независимости, были ли вы сыты или проголодались, как волк. Есть на свете не просто еда, скажем, как какая-нибудь колбаса или котлета – проглотил без церемоний и побежал себе

по делам. Нет, с русскими блинами было не так, как с котлетой. Не знаю, мне так кажется, что сколько бы раз не ел блинов, нельзя смотреть на блины без умиления и какого-то душевного восторга, как, когда смотришь на солнце и хочешь испытать его тепло.

Золотые, запашистые, горячие, в топленом масле, готовые блины, сложенные в стопку, заставят русского человека улыбнуться, а иностранца восхититься, и лишь только какой-нибудь немец или француз откусит от блина кусочек, он закроет глаза и в истоме подумает: Россия. И в тот же миг закружится, запоет, предстанет перед ним вся хлебосольная Русь. Сойдут с кустодиевских полотен румяные дородные купчихи, пустятся вприсядку бородастые мужики и Чичиков в своей коляске, и Ноздрев со своим щенком, и Коробочка с возом булок да ватрушек, Собакевич с целым бараном – да чего только не явится. И, конечно, масленица с ее миллионом блинов, потехами и красными сапогами на столбе.

Коля улыбнулся стопке блинов, сверкающему самовару, встречавшему его на столе, и Лизоньке, что сделала старику такой праздник.

– Спасибо, дочка. Ну, ты это лучше, поспала бы. Я бы уже как-нибудь так перекусил.

– Еще чего выдумали! – ответила Лиза.

– Да не выкидывать же?! Вон и хлеб я вчера не доел и колбасу.

– Хлеб воробьи склюют. А колбасой вон пусть Васька лакомится.

Васька, рыжий кот, с длинными усами, облизнулся, когда речь зашла о колбасе, словно понимал и, мурлыча, затерся об ноги хозяйки.

Старик умилялся.

– Все у тебя в добро обращается.

– А как же оно иначе, – удивлялась Лиза. Вон ведь каждое доброе дело, пусть и самое небольшое на вид, то, как корм для птички, дорога к престолу отца нашего. Надо только смотреть по сторонам да вокруг себя.

– Да как все увидеть? – вздыхал старик.

– Совсем и не трудно, надо сердце открытым держать. На то оно и сердце, Богом нам дано, чтобы видеть и слышать то, что можно и глазами не разглядеть и ухом не услышать.

Лиза улыбалась и наливала старику в фарфоровую чашку чаю. Садилась рядом и смотрела, как Коля ест блины, и запивает их горячим чаем.

От блинов с пылу-жару и горячего чая у старика на лбу проступила испарина, и он расстегивал ворот рубашки и вздыхал от тепла и удовольствия.

– К Савельевой подруга приехала. Галей зовут, – стал рассказывать Коля, с наслаждением отпивая из кружки чай.

– Подруга! – удивлялась и радовалась Лиза за Савельеву.

– Да! Двадцать лет не виделись, и на тебе. И кто виновник, я вас спрашиваю!?

Коля любил похвастать, а еще приукрасить. Так порою заврется, что местные мужики от смеха надрывали животы. И никогда не обижались, если Коля их приплетал в свои рассказы, больно забавно выходило у Коли: что ни рассказ, так анекдот.

Лиза улыбнулась и стала внимательно слушать.

Коля преобразился – хоть сейчас на трибуну. Отставил чашку с чаем и принял серьезный вид, подступая к рассказу.

– Лежу я, стало быть! А что не отдохнуть?! Лето – земля теплая. Сам бог велел!

– Где лежите?

Коля фыркнул.

– Что значит, где? У дома Савельевой разумеется!

Лиза покачала головой.

– Не пьяный я был, просто лежу! Что, человеку нельзя и полежать? Они там все за границей лежат. Разлягутся и млеют, черт их возьми.

Лиза рассмеялась:

– Так они ведь, наверное, на траве лежат. Лужайка называется!

– Во-во!

– И где же вы такое видели?

– Видел! Вон по телевизору показывали. Вон, смотрите, какая у них там райская жизнь и цивилизация. А по мне, так брешут. Тоже мне рай! Вон, у нас, где хошь лежи и что оно, манна небесная? Э, нет, лежи, не лежи, а сытую жизнь не вылежишь. Прежде чем оно лежать, повкалывать должно. А что я?! Я на пенсии. Свое отработал. Теперь оно мне лежать и положено. А где я лежу, кому какое дело. Ну, вот лежу я, никого не трогаю и тут чувствую, что кто-то меня берет за руку. Да ласково так берет! Ну, все, думаю, смерть пришла! Говорит: вставай, Николай Карлович Пономарев, пора, что зря лежать!

Лиза покачала головой.

– Клянусь тебе, Лиза! Я как подумал, что смерть. Решил, э, нет, не проведешь, притворюсь, что уже того, а потом, когда уйдет, ноги в руки, и только ищи ветра в поле. Ну а, конечно, смерть не – жена, поженился – не развестись! Но все равно жить-то хочется! А как же. И вот затаился и думаю, что хошь делай, а не откроюсь. И что ты думаешь?! Тут все и закрылось!

И старик пустился в один из своих рассказов, таких, который, извините, сам Пушкин повторить не сумел бы.

По рассказу Коли выходило, что Галя приехала чуть ли не навсегда. Убедиться в этом Лиза могла сама и уже совсем скоро, так как Савельева со слов Коли передавала, что вместе с Галей сегодня придет в гости к Лизавете.

– Да где уже сегодня! – сомневалась Лиза. Сегодня не придут. Они, вон, сколько лет не виделись. Столько всего рассказать надо.

– Придут, вот увидишь. Может, вон, уже и собираются, – убеждал Коля, а сам косился на двор.

Лиза уже знала, что Коле не терпелось встретиться со знакомыми мужиками, а значит, он снова уйдет, и хорошо, если только до вечера. Бывало такое, что Коля мог только прийти переночевать и снова не появляться долгие недели. Лизе вдруг стало тоскливо, и она тяжело вздохнула, но и удерживать насильно старика не могла и не хотела.

Коле стало стыдно.

– Да, я это, ненадолго. Приду.

– Придете.

– И заметить не успеешь. И потом Савельева же придет. Обещала. Тогда я вам только мешать стану.

Во дворе послышался бойкий голос Веры.

– Лиза, гостей встречай, – весело кричала выпившая Савельева и вместе с Галей поднималась на резное деревянное крыльцо.

Коля от ликования не мог усидеть на месте, можно было подумать, что он выиграл миллион в лотерею. Теперь можно было со спокойной совестью на время оставить Лизу и идти похмеляться.

– Говорил я тебе! – ликовал Пономарев.

Лиза от неожиданности даже растерялась.

Счастливый старик смеялся.

Савельева открыла никогда не запиравшиеся здешние двери.

– Легки на помине, – выкрикнул Коля.

Лиза здоровалась и с женским любопытством смотрела на Галю.

Галя входила робко. Стояла тихонько, словно чего боялась. Было видно, что в незнакомой обстановке ей не по себе.

Лиза это почувствовала, сразу подошла к настороженной гостье и по-доброму, как только, наверное, может сердечный внимательный человек, взяла Галю за руки, все одно, как родную сестру, встретившись с ней после долгой разлуки.

Ничего Лизонька не говорила, а лишь только тепло улыбалась. И слетел, ей богу, так и упал камень с сердца Гали. Галя улыбнулась в ответ, словно знала Лизу всю жизнь.

– Устала, – сказала Савельева и села на стул. – Галя, подруга моя. Да ты уже, наверное, знаешь.

Савельева сдвинула брови на Пономарева.

– Много чести, – ответил Коля.

– Поговори мне еще! Небось, с три кучи наплел.

– Не ссорьтесь! – весело попросила Лиза.

– Да с чего взяла. Это я так, так.

– Чай пить давайте! – сказала Лиза и стала усаживать Галю за стол.

– Мы только поздороваться! – отказалась Савельева.

Лиза заметно погрузтела.

Савельева мысленно поругала себя и скорей взялась исправляться.

– Наливай, Лиза, грех отказываться, если от чистого сердца. Успеем, наливай.

– Ну, слава богу, слава богу, – закричал Коля и стал собираться за порог.

– Уже намылился, – бросила Савельева.

– Я туда и назад, туда и назад. Одна нога здесь, другая там.

– Знаем, видали. Еле потом на этих ногах приползешь.

– Не пить я, не пить. Только так, похмелиться!

– Пусть идет. Совсем ведь измучился, – вздохнула Лиза.

– Если моего увидишь, скажи, пусть готовится. Я ему устрою, и Ткаченко скажи.

– Скажу, все передам, – и Коля со спокойной совестью скрылся за дверьми.

Коля ушел, а между женщинами протекал привычный разговор, один из тех многих, что случаются в жизни так часто, что не станем придавать тому разговору значение. Савельева не могла долго усидеть на месте и уже скоро стала собираться и обещала уже скоро прийти снова. Все виделся ей ее Ковалев, нетрезвый, с растрепанными волосами, скорее всего, где-нибудь на берегу Дона, а если точнее, непременно на лодочной станции, где у Ковалева был собственный гараж и катер с мотором.

На склоне правого берега Дона сразу против проходной стекольного завода за железной дорогой начиналась та самая лодочная станция. Словно в какой-то городок холостяков за последний десяток лет превратилась лодочная станция и была единственным домом для многих одиноких рыбаков. Узкие железные ступени и железные круглые перила помогали рыбакам и их гостям спускаться к гаражам с катерами и лодками. Над гаражами были устроены железные будки – дома рыбаков с верандами, с которых открывался вид на романтический умиротворенный пейзаж левого берега Дона – песчаные полосы дикого пляжа, гнувшийся на ветру камыш, заводь с плещущей рыбой.

Ветер растреплет волосы, пропоеет под ухом железную песню «товарняк», повеет прохладой с мутноватой воды, и на мгновенье забудешься – Дон. Такой Дон был в станице Аксайская в Ростове и еще на некоторых, все больше мелких, станциях, где вдоль берега по железной дороге проносились поезда и, окунувшись в донской воздух, подхватив с берега песчинки, развозили по всей России от Черного моря до Дальнего востока пейзаж вольницы казаков нижнего Дона.

Летом на стальную песню поездов и прохладу Дона Ковалев менял толстые стены казачьего дома Савельевой, и все свободное время проводил на лодочной станции, а когда просто не ходил на завод, оставляя весь мир где-то там за железной дорогой, окунаясь совсем в иную, необыкновенную жизнь рыбака-дикаря. И только перешагнув стальные сверкаю-

щие полосы железной дороги, оказавшись в месте, где все его обитали, были сродни ему по духу, Ковалев забывался. И уходил на лодочную станцию, когда вздорил со строптивой и бойкой Савельевой. Подолгу мог не приходить, но всегда возвращался, хоть мог и не вернуться, и как казак Чермаш и мужики жить на лодочной станции круглый год. Зимой греться от электрической печки, а летом спать на веранде, дыша прохладой с мутноватой воды. Жить рыбой. Резать на катере с мотором водную гладь, заплывая в богатые рыбой заводы. А если будет зимой долгий крепкий мороз, греться водкой, дышать над лункой, выдыхая горячий, пахнущий спиртом, воздух.

С Савельевой Ковалев познакомился и в первый раз встретился на лодочной станции. Коренной ростовчанин Ковалев с каждым новым днем после развода все чаще с работы бежал не к матери в дом, а в станицу на лодочную станцию, где за удочкой или просто в компании рыбаков забывался, а утром на электричке ехал в Ростов на завод. И так несколько лет, пока местные бабы хорошо зарабатывающему по станичным меркам ростовчанину фрезеровщику не сосватали Савельеву, с домом и со всем, что нужно мужику для счастья. «Чтобы не мотался туда-сюда, и потом оба разведенные, что не попытать судьбу», – думали бабы и, недолго посоветовавшись, воплотили задуманное в жизнь.

Мимо горячей яркой Савельевой нельзя было пройти стороной, как нельзя пройти мимо, чтобы не вздрогнуть, слышав удалую казачью песню. Бедовая Савельева своим напором кипучего характера с первого взгляда, с первого жеста покорила городского Ковалева. А он по-казацки, приносивший в дом мешки рыбы, носившийся с Верой на катере наперегонки с ветром и с участием слушая бабскую болтовню, постепенно завоевал уважение и любовь Савельевой. И иногда стареющим любовникам казалось, что если бы они встретились двадцать лет назад, жизнь сложилась бы по-другому.

Как и думала Савельева, Ковалев с Ткаченко отыскились на лодочной станции.

Галя пришла и стояла тихо, приученная молчать в присутствии мужчин, и только смотрела на отворачивающегося от нее захмелевшего Ткаченко. Савельева, сама немного выпившая, стала отчитывать мужиков и натиском, и обхождением пугала подругу.

– Спалю я вашу будку. Вот увидите, спалю. Ты что, Ковалев, молчишь, воды в рот набрал? Так выплюнь, вон, ее сколько, не жалко. А тебе не стыдно у бабы на водку деньги брать? Ты давал ей деньги?! Сначала заработай, дай бабе деньги, а потом проси.

– Не жена она мне, – бросил Ткаченко, и Галя как-то вся съежилась, словно хотела от чего-то спрятаться. «Ведь и вправду не жена», – думало сердце Гали и отдавало какой-то страшной безысходностью.

– А что же ты к ней ходил?

– А что все ходят, то и я ходил!

– Ты мне поговори еще, завтра же вылетишь. Вот, деньги бабы потратил, теперь иди и на лодке катай. А ты иди, садись вон в ту лодку, – и Савельева показывала Гале качающуюся на волнах потемневшую от времени казанку. – И пусть отработывает. Пусть, не облезет.

С непривычки Галя, высоко задирая ноги, чуть не упала, забираясь в лодку.

Ткаченко оттолкнул лодку и, запрыгнув, взялся за весла.

– Да, это, – кричала Савельева вдогонку набирающей скорость казанке, – катайтесь, как следует и, смеясь, заталкивала Ковалева в будку и крепко закрывала за собой двери.

Галя молчала. Ткаченко смотрел на будку Ковалева и, словно видя сквозь металлические стены, начинал разгораться, представляя, как Ковалев мнет красивую, раскалившуюся Верку, а баба извивается под ним и стонет в сладкой истоме. Как Ковалев целует ее белые груди, и как от этих поцелуев сладость стоит во рту у мужика, словно они у казачки из сахара. И Ткаченко быстрее гнал лодку на левый берег Дона на дикий безлюдный пляж и с каждым стоном Верки, словно застрявшим у него в ушах, сильнее налегал на весла. И когда они

наконец-то доплыли, он так бросал весла, словно они были раскалены до красна и жгли ему руки.

Задыхаясь в нетерпении, Ткаченко за руку тащил Галю из лодки на берег и, повалив на горячий песок, задирает Гале платье. Судорожно трясясь, снимал большие бабские трусы, задыхаясь от захватившей страсти. Подчиненный страсти и следуя тайным желаниям сердца, смотрел на Галю и видел перед собой красивую, недоступную Савельеву и жадно и страстно целовал живот и бедра некрасивой Гали.

А спустя каких то три дня, как Галя приехала в дом подруги, Ткаченко возненавидел неожиданную гостью, что словно мешок взвалила ему на плечи бойкая красавица Вера.

«Ну, было дело, – восклицал Ткаченко. Что мне теперь, жениться на этой уродине?»

По мнению Веры выходило так, но если и не жениться, то жить до смерти. До самых последних мгновений сносить выражение влюбленной дуры, и шага чтобы не ступить одному.

Ткаченко себя проклинал, что постился, и теперь мучайся всю жизнь. Куда ни шло, с недельку-другую, на всю жизнь Ткаченко был не согласен. Ладно бы с Верой, и красивая и свой дом, а что есть у этой Гали? Другими словами, решил Ткаченко, что не бывать этому никогда. Последней каплей стал случай, который никак не выходил из головы Ткаченко и, как оно говорится, только подлил масла в огонь. Да что там подлил, так плеснул, что Ткаченко неизвестно как себя еще сдержал.

Возвращались с Дона.

Вера шла под руку с Ковалевым, Галя все равно, как собака плелась за Ткаченко. Куда он, туда и она.

Вера долго смотрела на такую жалкую неприятную картину, и, как говорится, допекло.

– Ты бы, что ли бабу под руку взял. Кавалер еще называется, – сказала Вера Ткаченко.

– Еще чего, кто она мне! – пробурчал Ткаченко.

– А я тебе говорю, возьми. Иначе, чтобы завтра духу твоего не было.

Ткаченко плюнул на землю и нехотя, рассердившись, взял Галю под руку.

И надо же такому случиться, повстречались на дороге знакомые бабы, да не то, что там какие негодные, как вот эта Галя, а все как одна, прямо картины – дородные румяные, как караваи, так бы и полакомился. Такие бабы, за которых и жизнь не жалко отдать, если, конечно, прежде рассвет позвали бы вместе встречать.

У Ткаченко аж дух перехватило.

На одну он уж давно глаз положил, соседка Веры. Не баба – огонь, рыжая с фигурой все одно гитара.

Ткаченко было трудно дышать.

– Здравствуйте, – поздоровалась Вера.

– Здравсьте, – отвечали бабы и с интересом изучали незнакомую Галю да еще под руку с Ткаченко.

– Подруга моя, Галя, – сказала Вера. Жена Кости, к мужу приехала.

Бабы удивились, помня, как Ткаченко с ними заигрывал и трепался, что холостой и никогда не был женат.

Ткаченко хотел, было, открыть рот, чтобы начать возражать.

Но Вера опередила.

– Да и детишки у них, – и засмеялась. Опоздали, бабы.

– Да больно надо, холостых полна улица! – фыркнули бабы и поспешили прочь.

Ткаченко с силой вырвался из-под Галиной руки.

– Ты, – закричал Ткаченко, на Веру.

– Что. Будешь знать, как бабам головы дурить.

– Да пошутила она, – успокаивал Ковалев.

– А ты молчи, – топнула Вера на Ковалева. Ишь, защитник выискался. Было б, кого защищать. Смотри у меня.

Ткаченко махнул рукой и пошел вперед.

– Иди, иди, тоже принц. Ничего, пусть теперь знает, что ему теперь все дорожки закрыты. А то расфуфырился, павлин. Галя, к нам иди, а он пусть идет. Солнышко спать ляжет, другое запоем. А ты его не слушай, разок проучи, пусть один ночует. Будет знать, как брезговать!

И с того самого момента Ткаченко только и стал думать, как ему отделаться от некрасивой Гали. Но как все проверить, не знал. Не в Дон же ее, в самом деле!

Рассказывала Галя, что она замужем за каким-то таджиком, что брат у того таджика богач, хирург, в Зернограде работает.

Да что с того, не поедет же Ткаченко, в самом деле, искать ее мужа.

«Еще чего недоброго, прирежут», – думал Ткаченко и не знал, как быть, пока ему не пришел на ум один местный участковый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.